

СИНЯЯ ЛАМПА, ИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ ТЕТРАДЕЙ

О Елизавете Михайловне

Елизавета Михайловна Семиградова принадлежала к поколению, отстоящему от нас уже больше, чем на целый век. Она родилась в аристократической семье в поместье под Киевом в мае 1902 года. В ее долгой жизни фактически отразилась история всей страны. Так, за сочувствие декабристам был арестован и заключен в Петропавловскую крепость дед. Мать активно занималась благотворительностью, организовала бесплатную сельскую школу для детей, выделила для молодой крестьянки Ганны Собачко помещение, где та вышивала ковры и рушники по собственным рисункам и впоследствии стала известным народным художником. Семья жила достаточно скромно, так как все деньги уходили на школу, больницу и на кустарные промыслы. Зато в доме Семиградовых было уютно и радостно, все стены украшали рушники и ковры, сделанные Ганной и ее подругами. Елизавета Михайловна рассказывала, как посещали их имение потомки декабристов Давыдовых, называла имя подруги юности, художницы Жени Прибыльской.

Е. М. Семиградова окончила Институт литературной и исторической культуры — был такой в послереволюционной стране — и работала редактором в издательстве Геодезиздат. Но разразилась война, и 12 апреля 1942 года она направлена в газету «Советский гвардеец» 2-го гвардейского стрелкового корпуса, куда входила 8-я гвардейская Панфиловская дивизия. Так Елизавета Михайловна попала на 3-й Белорусский фронт.

На фронте эта интеллигентная женщина с аристократическими корнями не гнушалась никакой работы: была и писарем, и прачкой, и библиотекарем, и секретарем политотдела 19-й гвардейской стрелковой дивизии...

День Победы, 9 Мая 1945 года, она встретила под Кёнигсбергом. Из г. Гумбинена (Восточная Пруссия) эшелонам через Москву ее отправили на границу с Монголией: на станции Борзя она с другими солдатами прошла тренировку уличных сражений, училась обходиться одним литром воды в жарком климате...

Затем — переход через горный хребет Большой Хинган... В августе, когда началась война с Японией, Семиградова по Южной железной дороге (через город Солунь до города Суньцзяньтунь) попала в Маньчжурию на Забайкальский фронт.

Войну она закончила 29 сентября 1945 года в чине рядового красноармейца. Имела награды: «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и два отличия «От Советского Фонда мира». Получая годами скромную пенсию в 40 рублей (!), она каждый месяц отправляла 5 рублей в Фонд мира.

Она дружила с выдающейся артисткой Марией Бабановой, была хорошо знакома с внучкой Станиславского, Кириллой Романовной Файко.

Елизавета Михайловна была светлым, одухотворенным и очень деятельным человеком. Постоянно, даже в глубокой старости, она что-то изучала, чем-то увлекалась, и круг ее интересов был необыкновенно широк. Беседовать с ней было

одно удовольствие! И она была абсолютно уверена, что ее повесть — о войне, о Синей Лампе, чудесном Доме и дружбе с маленькой девочкой — будет обязательно издана.

Лана ГАРОН

Посвящается Ирине Новаковой

Все в разрушении своем имеет начало.

А. Н. Радищев

1. ВМЕСТО ПРОЛОГА

Победу в войне с Японией я встретила в маньчжурском городе Суньцзянтунь, в политотделе нашей 19-й гвардейской стрелковой дивизии, у полки с книгами. Неожиданно появился командир 45-го гвардейского артиллерийского полка, русоголовый богатырь. Не успела я оглянуться, он поднял меня вверх — глаза шальные, руки железные — и воскликнул: «Победа! Конец войне, понимаешь?» Долго я еще копалась с книгами; дрожали руки; не знала, чем заняться...

Домой! В вещмешке три рассказа на фронтовые темы. Они стали частью меня самой. Мысленно я говорила «мы» — я и мои рассказы... Мы вместе изнемогали в пыли едущих впереди грузовиков, от чада пепелищ; вместе изнемогали от грязи проселочных дорог, разъезженных вширь и вглубь; вместе зябли под дождем и были счастливы, если удавалось поспать под грузовиком на сухом пяточке; вместе шагали по Восточной Пруссии; вместе мерили километры полупустынь Монголии, поросших черемшой... изредка проплывет по степи иноходец с белой звездочкой на лбу и чуть ли не до земли пушистым хвостом с неподвижно сидящим всадником; вместе преодолевали перевал Большого Хингана, любовались этой удивительной Маньчжурией. Пучки рисовой соломы остриями вверх на головах китайцев повторяли острые вершины гор; обилие нешироких рек, коротких туннелей, мостов, поворотов пути, красота чужой страны, — вся эта безмятежная феерия с ее как бы сказочными декорациями при подъезде нашего воинского эшелона к Мукдену — столице Маньчжоу-Го — сменились далеко не безмятежно — развлекательным зрелищем. Мы, солдаты, в раскрытую настежь дверь теплушки увидели рикшу. Голый по пояс, залитый потом, он походил на лакированную заводную игрушку с машинкой в груди вместо сердца, измерявшей скорость его бега в единицах лошадиных сил. Рикша вез солидного седека в шелковом кимоно с тяжелой поклажей в ногах.

Весь путь из Маньчжурии домой в Москву мои рассказы проделали в вещмешке, который я имела неосторожность подкладывать под голову вместо подушки, прислонив к стенке теплушки. От трения о стенку, при бешеной скорости езды, образовалась глубокая дыра, и многие вещи пострадали. Рассказы уцелели. Но дома, перечитывая их при свете Синей Лампы, сидя у теплой печки, я переставала чувствовать их частью самой себя. Они легко от меня отделились и стали чужими, неинтересными, полными надуманных образов, неубедительных длиннот.

Я их сожгла. Погасила Синюю Лампу и долго сидела в темноте, ни о чем не думая. Однако еще долго я не хотела самой себе признаться, как было больно от этого почти физически ощутимого ожога по живому, причиненного самой себе по собственной воле.

Значит, перестать писать? А как же тогда жить?! И я снова писала. Снова уничтожала. Пока не произошла встреча с Мухой, пока не был написан первый набросок рассказа об этой встрече — основном звене в цепочке из двенадцати тетрадей-глав, В них я рассказала об этой необыкновенной встрече, о маленькой девочке Ирише, о Синей Лампе и ее Старой Хозяйке.

Есть встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Необязательно с человеком, с книгой. У меня она произошла с мухой. С тем довольно-таки нахальным существом, которое с охотничьим азартом мы бьем хлопучками, травим подслащенным ядом, убиваем медленной смертью на липучках.

2. НОЧЬ ТОПОРА

Сижу на стареньком диване с оторванным валиком. В комнате холодно и сыро. Печь-голландка остыла. Не хочется вставать с согретого от долгого сидения местечка и спускаться в подвал за дровами.

На дворе ненастное предзимье. Тяжелые обложные облака полны крошевом из снега и дождя: лей — не желей... Через открытую форточку норвят попасть в комнату длинноногие брызги дождя. Ветер-хулиган дергает ветви-косы смиренной березки в нашем дворовом саду: «Кланяйся, да пониже, не то оторву косы-то! Вот будет стыдно!». Мизансцена «Барышни и хулигана».

С дивана не встать. Жужжит на окне муха. Уже давно жужжит. Перестанет и снова начнет.

— Задыхаюсь! — гудит муха.

— И я задыхаюсь! Отчаяние душит: нет выхода!

— Тебя — отчаяние, меня — стекло, — изнемогает муха.

— И у меня стекло. Человечье. Оно жить не дает.

Дождь исполняет импровизацию «Московское болеро». Сначала медленно, еще можно добежать до дому без зонта; потом быстрее, и ветер норвит вывернуть зонтик, швырнуть побольше мокрого холода за воротник, повыше поднять полы пальто и подола юбок. Он гогочет над мужчинами, которые разбрызгивают лужи в эксцентрической клоунаде-погоне за своей шляпой, сорванной с головы. Дождь хлещет по городу, сечет деревья, заливаает голубятни, оставляет кучи мусора в неположенных местах. На улицах разгул воды, вольная вольница.

Изнемогает муха, большая, сильная, уцелевшая до наступления беспощадного ненастья, наперекор всем хитроумностям брата старшего, направленным на ее уничтожение, — этого брата-охранителя всего живого на земле, но ни в коем случае не ее, не мухи. Поскорее хлоп ее хлопучкой! Инстинкт мухи говорит, что в жилище человека лета не бывает — оно за окном. И муха требует:

— Стекло, пропусти!

— Не говори глупостей, козявка, — брезгливо отмахивается стекло.

И у меня стекло. Оно не пропускает в прежнюю жизнь. В отличие от мушиного, рукотворного, мое «стекло» — это Слово. Его, сказанное, не вернуть обратно, как не вернуть обратно исторгнутое из тучи копьё молнии. Слово сделало чужими двух близких людей и разрезоало на две несоединимые половины мое гнездо, мою жизнь. Нет сил, все брошу, поменяю комнату, а еще лучше — уеду в другой город, куда-нибудь далеко-далеко... Успокаивали умницы: «То ж еще в жизни бывает... Найдешь новое, лучше прежнего». Почему оно должно быть лучше? Я и не стала его искать.

Тело тяжелое, как земля. В сердце холодная пустота. Уже глубокая ночь, пора спать: завтра на работу. С работы приду домой, лягу спать. Утром снова пойду на

работу и снова приду домой, чтобы утром... И вдруг, как лавина, сдвинулась во мне стихия мятежа и беспощадного разрушения. В состоянии сладкого ужаса я ударила по дивану. Изо всех сил! Диван разнесла в щепки. Разломала мебель, расколола посуду, ногами долго что-то топтала, кошунственно рвала книги на части — осквернила мою святыню. Пусть гибнет все, если гибну сама.

К действительности вернуло ощущение холода. Сажу на диване, сжавшись в комок. Мебель, книги, разумеется, на своих местах. Синяя Лампа цела, мое сокровище. Неужели и на нее посмела я занести топор?! И на книги, на репродукции? На непреходящие образы Марии Волконской и Екатерины Трубецкой, тоскующей Ярославны, Владимирской иконы Божьей Матери, героической Евпраксии, княгини рязанской, вечно женственной Нефертити, предвидящей судьбу своего божественного сына Сикстинской мадонны, далекой-близкой Незнакомки, Прекрасной Дамы, Неизвестной с говорящими глазами, Джульетты, Золушки, пленительной русалочки... — на всех вас, бессмертные лики Любви, Добра, Красоты?!

Душевных сил остались капли. Вот ползет капля по отвесной стене вниз, в пустоту — исчезает. И еще одна исчезает. А последняя? Что будет, когда исчезнет последняя? Что со мной будет на дне пропасти? После урагана разрушения?

Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.

Шекспир

Я не сразу поняла, что наступила тишина. Это перестала жужжать муха. За окном тоже тишина: перестал дождь. Неотжатое холодное одеяло мокрого низкого неба накрыло иззябший город с головой. Форточка распахнута — под ней мертвая муха. И тогда пронзило! Ведь стоило ей переползти за выступ рамы, и через распахнутую форточку она вылетела бы на волю, А где моя «форточка»? Ведь и она должна быть где-то рядом.

Началом в разрушении ночи Топора стало начало нового жизненного пути по совершенно новому, грозно новому жизненному пространству — к неизведанно новому качеству жизни. В наступившей бессветной полосе жизни, пустой, как выпитый до последней капли стакан, когда форма осталась, а содержания не стало, — голова работы не просила: ее требовали руки. Я почистила, починила, постирала все, что можно. Сделала генеральную уборку в дровяном подвале, — храбро стучала лопатой впереди себя, разгоняя обнаглевших крыс. Но вместо них выскакивали большеглазые, отошавшие, на высоких лапах, с дрожащими хвостами кошки, которых крысы еще не успели съесть.

Я ходила на работу, приходила домой. Утром снова шла на работу, потом снова... В прежнюю жизнь пути были заказаны, и я не стремилась искать то новое, которое почему-то должно быть лучше прежнего.

* * *

— У меня существенное дополнение, — взметнула страницами Черновая Тетрадь. — Она его искала, это новое, что якобы лучше прежнего. А пишет, что искать не стремилась.

— Люди врут-врут-врут, — приплясывая, лязгали Ножницы. — И мы будем врать.

— Ну уж нет, я никогда не буду, не заставите, — обиделась Черновая Тетрадь.

— Не ссорьтесь, — успокоила Синяя Лампа. — Так что она зачеркнула? Прочитай.

— «Я пыталась выйти замуж вторично. — читала Черновая Тетрадь. — Хороший пианист, оперную партитуру читал с листа, писал музыку для детей. Все лето встречались с ним у близкой знакомой на подмосковной даче. Речка, луг, ромашки. К Октябрьским праздникам пошла знакомиться с семьей. Все жили вместе: мать с горбатой сестрой, женатый сын с женой и младенцем, холостой брат, И собака. Большая, старая, ласковая. Он играл мою любимую Неоконченную сонату Шуберта, я размякла. Потом танцевали, ужинали. Настало время проводить меня домой, и он хотел ко мне подойти. Но ему мешала собака. Тогда он грубо пихнул ее ногой. Собака тяжело отошла. Он украдкой успел меня поцеловать, глаза его сверкнули... Ну, и пусть сверкают! Но не для меня! Эта собака спасла меня от идиотски-глупого, необдуманного шага».

Действительно, солгала ли я? Нет, не солгала, потому что не искала то новое... и так далее. Впрочем... в самой-самой глубине души все же затаилось какое-то ожидание. Но то была встреча случайная, и благодаря эпизоду с собакой я оборвала нить, пока она не превратилась в железную цепь. Та встреча не была моей «форточкой». Ее предстояло найти только после того, как я выдержала испытание Одиночеством в тесном окружении людей и адским огнем Войны.

3. ПОЯВЛЯЕТСЯ ИРИША

У моих соседей родилась дочь Ириша. Мама Оксана водит ее по коридору, держа за воротник: до чего ж неповоротливы ножки-столбики! Когда малышка научилась ходить самостоятельно, началось знакомство с квартирой, кто где живет и где можно найти что-нибудь интересное. Ириша, смелый исследователь, открывает дверь в мою комнату. Дверь пригласительно распахивается: «Входи, не бойся!» Подхватываю Иришу на руки (ну и тяжелая!), подношу к подносу, что висит на стене. На нем нарисован большой букет. К ярким цветам Ириша тянет пальчик, охотно за мной повторяет: «Барвинок, тюльпан, пишовник». Поправляю: «Шиповник». Она снова: «Пишовник» — с видом огромного удовольствия: «Какая же я умница, повторяю правильно».

В моей комнате семь квадратных метров, окно выходит во двор, в небольшой сад. В комнату льют свое дыхание старые высоченные тополя. Между их листвой золотится купол церкви Вознесения на Успенском Вражке, постройки 1629 года. По вечерам в листве тополей светятся огнями окна флигелей, с трех сторон замыкающих наш дворовый сад. Ставлю Иришу на мушиный подоконник. Кто же там живет за тем ярким огоньком, может быть, такая же девочка, как наша Ириша? Вот бы с ней поиграть! Налево, в самом углу, особенно яркий свет, — может быть, там седой дедушка с зелеными глазами пишет сказку? Ирише мои фантазии нравятся. Недавно она подошла к окну, сказала: «Огоньки» — и просительно ко мне обернулась. Я поставила ее на подоконник. Смотрим на луну. Она в гамаке из зеленых ветвей, разомлевшая от сна. «Луна», — повторяет за мной Ириша и протягивает к ней пальчик: хочет потрогать. Спит в гамаке не только луна. Старому камышовому коту тигровой масти — вот в первом этаже флигеля справа его старая хозяйка устроила гамак в проеме окна, чтобы он мог спать на воздухе. Старуха давно не красила волосы, и надо лбом у нее седая полоса — в этом ее комическое сходство с тигровой мастью кота. Он спит. Глаза не видят, уши не слышат ни шума самоката во дворе, ни буханья мяча, ни рева упавшего четырехлетнего спринтера. Кот спит. Но стоит голове стриженной или голове с бантом появиться перед окном, как уши его вста-

ют торчком и лапы предостерегающе выпускают когти: ближе не подходи! В мезонине левого флигеля, у другой старухи — дрессированная дворянка. «Член моей семьи», — говорит одетая мужчиной эта заядлая курильщица. Стоит ей снять свою кепку, «член семьи» садится «столбиком», старуха надевает ему на голову свою кепку набекрень, сует ему в рот бумажку, сложенную трубочкой, — это «папираса». А симпатичный песик получает вкусное поощрение. Дети в восторге.

Проходит младенчество Ириши: «Потеснитесь, взрослые! Скоро я стану рядом с вами на равных!..»

Началось активное обследование моей комнаты. Она все перетрогала, что-то переставила и, надо сказать, сделала лучше меня. Об одной шкатулке я совсем забыла: в ней бусинки, дужка от очков, сломанная брошь, еще неизвестно что, непонятно, почему до сих пор хранилось. Ирина с упоением в этом хламе копается. А что в этой коробке с незабудками на крышке и надписью по краям «Незабудочка — цветочек, не забудь меня, дружок»? Это память бабушки Алисы, теперь в ней мои боевые награды. Для Ириши это — занятные фантики: блестят, звякают, приятно холодят ладонь. Вдоволь поиграв, Ириша укладывает их в шкатулку и собирается уходить. «Постой, что у тебя в руке?» В ней медаль «За взятие Кёнигсберга». «Зачем взяла без спроса?» — «Я нашла», — отвечает с невинным видом Ириша.

Она быстро взрослеет. Вчера влетает вихрем: «Камни растут?» Возбужденные глаза держат цепко, требуют: «Отвечай! Подтверди, что растут. Немедленно!» Сзади стоит мама, недоверчиво качает головой. Ириша делает вид, что не замечает ее полуиронической улыбки: она сделала открытие и ждет от меня ответа. Если ей все время говорят: «Вырастешь — узнаешь»: если сама она растет — отметина карандашом ее роста на моих дверях неуклонно поднимается, то, конечно же, растут и камни, и чтобы не плеснуть в сияющее пламя ледяным отрицанием, отвечаю решительно: «Растут!» Не желая заслужить уже совсем иронической улыбки мамы, добавляю что-то о горных хребтах. Ириша прыгает, захлебывается от радостного торжества: ну как же, она сделала открытие!

У Ириши есть говорящая кукла, но Ириша ее боится. Перевернешь ее чуть ли не вверх ногами, и только тогда красавица прогундосит неизвестно что утробным голосом. Ирише милее моя декоративная красная подушка с геометрическим узором, и она начинает ее пеленать. Это не развлекательная игра. Это древний инстинкт, когда еще в пещере, у теплой золы костра, завернутый в звериную шкуру, лежал человеческий детеныш. Смотрю, как Ириша прижимается всем телом к подушке, слушаю нежный шепот: «Лялечка...» Малышка мама пеленает свою Лялечку в платки и платочки, в шарф и даже в салфетку. Пеленает так туго, что будь Лялечка живая, задыхнулась бы тотчас.

На то место, где должна быть голова (завтра это могут быть ноги), надевается капюшон от старого плаща, годный разве что для великана. Любуюсь Иришиной изобретательностью, глядя, как она прилаживает капюшон, уминает, подворачивает. В этой приятной возне она не раз начинает все сначала: не понравилась морщинка, складка. Пока происходит упаковка «младенца», Ириша обращается с ним бесцеремонно: кладет «лицом» вниз или «ногами» кверху. Но когда все закончено, она красивым точным движением, отшлифованным тысячелетиями, прижимает Лялечку к груди, по-детски нежно, по-матерински бережно, и торжественно ходит с ней по коридору, по пронизанному солнцем роскошному саду. Шепчут-шелестят деревья, птицы в ярком оперении похожи на цветы, а лепестки цветов — на крылья диковинных птиц: вот-вот сорвутся с ветки и улетят, булькает холодный родничок. Ходит маленькая мама, никого не замечая, погруженная в себя. Остановится, отодвинет капюшон со лба своей «ненаглядной», тоненько, тихо позовет: «Лялечка!»

Позовет, не пряча чувств. Их прятать не от кого. О подглядывании и подслушивании в буквальном и переносном смысле, о нездоровом любопытстве, замаскированном под дружбу, ей еще неизвестно. И о смерти ей тоже неизвестно. Она поймет ее по-настоящему много позже, после того, как научится читать это слово по буквам. Жизнь вечна, при чем тут смерть? «Уж не грезим ли мы, когда говорим о смерти?» — недоуменно спрашивает Гёте устами молодого Вертера. «Разумеется, грезим», — отвечаю ему, глядя на маленькую маму...

Тихо в квартире. Ярко освещает мои руки и бумагу Синяя Лампа, мое сокровище. Уже поздно, все успокоилось в Доме. А ему не до сна. То возникают, то затихают слухи о нашем переселении далеко в новые районы: то ли Дом снесут, то ли переделают в отдельные квартиры...

— Неужели от меня ничего не останется? — сокрушается Дом. — Людей лечат и приукрашивают, им надевают парики, вставляют зубы, делают пластические операции, чтобы они снова стали молодыми. А я?! Разве нельзя меня подновить? Разве я не заслужил?

— Замолчи! Ты полон людей — чего тебе еще надо? — сказала Крыша.

— Мало ли чего еще мне надо! — огрызнулся Дом. — Мне вот надо не жить рядом с этими небоскребущими выскочками.

Я с ним согласна, и жизнь в небоскребе сочла бы за наказание.

А Иришке, случись ей в нем жить, наказанием не покажется: она устроится в нем с удобством и уютом. Я же вспоминаю одноэтажный деревянный дом с низкими потолками, около дома живую матушку-землю, не удушенную удавкой асфальта, бочку для дождевой воды под водосточной трубой — как же сладко спалось во время летнего дождя под переплеск воды из трубы в бочку. Керосиновая лампа по вечерам, свеча по утрам... Около своей будки барбос на кривых лапах породистой таксы и с хвостом-бубликом потомственной дворняжки...

В нашей коммунальной квартире мебель самая обыкновенная (в квартире до революции жил известный врач-ортопед), морённая под темный орех, ручной работы, с чувством меры украшенная резьбой, по-старому удобная, но и по-старому тяжелая. Ирише купили светлую раздвижную кровать, сделанную из «чего-то», изобретенного химиками. Не в мастерской мечтателя-умельца, а на мебельной Фабрике. Зато — легкую! А родительскую — одному не сдвинуть! В комнате стало тесно. Ириша очень довольна: можно втиснуться туда, куда и пальца не просунешь, сложиться пополам, втянуть голову в плечи и затаиться: пусть ищут, зовут, она не отзовется. Вторая щель — в комнате у меня, между буфетом и стеной, в так называемом гардеробе. Там, один к одному, висят чехлы с одеждой, под чехлами картонный сундучок. Свободного места нет. Но для Ириши — есть. Без труда втиснувшись между чехлами, она ползет по сундучку («Ох, не раздави!» — хрипит Сундучок) и как ни в чем не бывало выползает с другого конца. Третья щель тоже у меня в комнате, между столиком и стеной, где стоит ручная швейная машина на ящике от почтовой посылки. Пора кормить Лялечку, и маленькая мама усаживается на швейную машинку. Начинается наимприятнейшая процедура — в кукольном супнике разболтать муку с водой и сахаром. Не остается ни одного комка, хоть блинчика пеки из Иришиного «супа». Покормив Лялечку и не пролив ни единой капли, маленькая мама строго приказывает: «Если проснется, дай теплого молока». Отвечаю серьезно: «Дам обязательно».

Я стала замечать, что Ириша видит во мне просто девочку большого роста, с которой можно поиграть.

4. ОТМЕТКА ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ

Ириша учится считать. Палочки-считалочки быстро надоели. Еще быстрее — пуговицы. А если пуговицы заменить... птицами? «А ты знаешь, сколько птиц ко мне прилетело? Клетки нет, а птицы есть».

Начинаем с буфета. Ставлю Иришу на стул. За стеклами верхних дверец — птицы украинской художницы Ганны Собачко. Среди цветов две вольные крупные птицы в ярком фантастическом оперении. Лапы большие, цепкие. От взмаха крыльев в полете ахают старые деревья. В повороте головы напряженное ожидание: где же ты, женская доля? Но и предостережение: кто посягнет на долю, с тем будут биться до последнего взмаха крыльев. Ириша еще мала, чтобы воспринять всю сложность птицы-воительницы, и мы просто открываем счет: две птицы.

За стеклом дверец настенного шкафчика для книг — птицы другой украинской художницы, Марии Буряк. Ее птицы устремлены искать свою долю счастья, а голову повернут назад: лететь обратно или лучше здесь остаться? Мария сумела в облике птиц передать прелесть юной женщины: высокая грудь, нежная шея, тонкие чуткие лапки-руки. «Воротник», — вдруг говорит Ириша и протягивает пальчик к полоске вокруг шеи птицы, действительно напоминающей строгий воротник. И оперение птиц напоминает облегающее фигуру темно-синее платье с цветами оттенка старого красного вина.

Рассказываю про Марию. С детства у нее безжизненные ноги. Немощная, но не сломленная, она рисовала, полулежа на земляном полу крестьянской хаты, и уносила в мир свободной мечты. Как внимательно слушает Ириша мой рассказ-быль, похожий на сказку, о синих птицах-женщинах, о художнице с нежным именем Мария, мечтательнице в хате с тусклыми оконцами, осененной ярким светом своего служения искусству. Недалеко лес. В лесу птицы свободно летают, поют о солнце и свободе, только надо уметь услышать, уметь увидеть. Мария умела. И вместе с ними улетала в мечтах искать счастье...

Я рассказываю не такими именно словами. Хочется передать всю необычность условий творчества Марии, ее личности. А если Ириша не поймет? Ну что ж, пусть воспринимает как не совсем обычную сказку.

В моей комнате мы насчитываем десять птиц: на декоративном блюде, на панно... живут без клетки, свободно летая. «А ты моя одиннадцатая», — улыбаюсь серьезной Ирише. Ее голубые глаза в томной обводке становятся синими, вспыхивают, про них не скажешь: «Какие миленькие глазки!»

— Нет, я первая! Первее той самой первой, что сюда прилетела.

С тех пор она придирчиво осматривает все, что, по ее мнению, украшает мою комнату. Разглядывает, переставляет. Вдруг раздается: «А что это такое? — и уже с ехидцей: — Это разве красиво?» Смотрю в направлении ее руки. На тумбочке стоит фарфоровая красавица — Синяя Лампа. На ней нарисован букет цветов, как бы освещенный светом солнца через листву ветвей. А из дверцы тумбочки свешивается прозаическая связка ключей. Немедленно вынимаю эту связку. Оправляю на шее воротник, приглаживаю волосы — почему уже день, а я в тапках? И фартук ни к чему, его давно пора снять. Снимаю тапки, надеваю туфли.

— А ты когда-нибудь скучаешь? — быстро переходит на другую тему Ириша.

— Никогда.

— И всегда что-нибудь делаешь?

— Всегда.

— Неправда. Сидишь в кресле, я видела.

— Сiju. И думаю. А думать — это труд. Труд невидимый. Но не более легкий, чем полено расколоть. А ты разве не трудилась, когда раздумывала о ключах и Лампе?

Ириша молчит. Думает. Что же это за труд такой — невидимый, не измеряемый чугунными гирями — труд ума и души. Вечером она снова приходит. Расставляет декоративную посуду, посередине ставит сочно-изумрудный графинчик на четырех ножках, получается сразу. А чайницу золотисто-розоватых тонов не знает, куда поставить. «С работой не ладится?» — добродушно иронизирую. Ириша молчит: некогда отвечать, не идет работа, и чайница наконец отставляется в сторону.

Как-то Ириша застала меня стоящей у окна. Любуюсь небом: скоро весна.

— Не работаешь? А говоришь, что работаешь всегда и без работы скучно, — воспитывает меня Ириша.

Подвожу ее к окну. На карнизе сидят два голубя, мирно чистят клювом один другому шею, идиллических два голубка... Вдруг один начинает яростно долбить другого по голове, и оба улетают: не ладили. Голуби не просто нечто летающее, на что приятно смотреть, но живые существа со своим настроением, порывами, манерой поведения. Поссорились — дошло до драки. Молча слушает Ириша, трудится ее головка.

Пока смотрели на голубей, изменились краски неба. Спрашиваю: «Интересно?»

Думай, думай, Ириша! Ты личность мыслящая, даром что маленькая девочка, которую еще можно дернуть за толстую косичку.

У соседки Зои — сиамский кот Микеша. Завидя белые туфли Ириши, он стремглав убегает на свою территорию. Что бы это значило? Очень просто: если на него топтать ногами, он улепетывает во весь дух, и его задние лапы заплетаются одна за другую, умереть со смеху! В глубь комнаты Микеша не убегает, он садится перед порогом мордочкой в коридор: «Только посмейте сунуться! Я вам задам». Зоя очень его любит. Он спит вместе с ней и сидит против нее на столе на красивой подстилке, когда она ест: никогда ей не мешает, не попрошайничает. Он галантен со своими сиамскими невестами и охотно делится любимыми деликатесами — шпротами. Но не каждую приглашает на брачное ложе: разборчив.

У другой соседки, Вали, красивая Топа, помесь лайки с овчаркой. Внушительных размеров, с характером. Она относится к Ирише, как к бесшерстному щенку — может и отнять печенье. Теперь же, когда отнять печенье уже нельзя, она не стесняется нахально промчаться мимо, едва не сбивая ее с ног. Микеша питается исключительно треской, Топа — исключительно мясом, но обожает шоколадные конфеты. За конфетой она отправляется к Зое через весь длинный коридор. Лежа на полу и обхватив конфету обеими ладами, она ее теребит, стараясь сорвать обертку. Если не удастся, съедает с оберткой. Топа, закоренелый мясоед, однажды вылизала шпротное масло из Микешиной миски, пока он спал. Хоть и спал, но все видел со своей лежанки на батарее. И только Топа двинулась к выходу мимо лежанки, маленький кот закатил большой сильной собаке пощечину: дружба — дружбой, но всему есть предел.

На звонки в квартиру одновременно выбегают Ириша и Топа: Ириша вприпрыжку — лишний раз промчаться по коридору; Топа — с оглушительным басом, не соответствующим ее положению невесты на выданье. Выскакивая из комнаты, она, как таран, распахивает дверь в теплую прихожую, на повороте в холодную прихожую, поскользнувшись, ударяется о стенку и останавливается у входной двери. Нос — в щели под дверь, шумное дыхание, хвост бубликом сжимается еще круче. «Пятачок» под хвостом вздрагивает в такт злому лаю: «Чужого не пущу». Если же пришел свой, восторгам нет конца: чуть не сбивает с ног.

Приехала из Подмосковья подруга Сусанна. Она раздевается долго, при ее полноте дело нелегкое. Мы так же долго обнимаемся и целуемся, Впереди большой

разговор, мы давно не виделись. Ухожу готовить чаепитие, а вернувшись, невольно останавливаюсь. Топа, в прихожей обляяв Сусанну как чужую и нахально ткнув мокрый нос в ее сумку (нет ли конфет?), теперь положила морду ей на колени и меланхолично помахивает хвостом: «Ты здесь своя, и я тебя не трону». Сусанна в ответ: «Топа, хорошая, что ж ты меня не признаешь и громко лаешь?» Голос у нее теплый, грудной, и хвост, как замороженный, останавливается. Однако после всех этих «телячьих нежностей», провожая Сусанну с полной сумкой, Топа может облять по всем правилам собачьего поведения: «Зачем выносишь из дома?»

Сусанна привезла пачку цейлонского чая. Жаль, что у нас нет чайной церемонии — чай достоин поклонения, как божество. Действительно ли он врачует все недуги, как уверяла бабушка Алиса, не знаю, но напряжение он снимает. Заваренный по всем правилам чай смертных землян — чем хуже он нектара бессмертных олимпийских богов? После приятного неторопливого чаепития с Сусанной мы слегка опьянели и чуть-чуть помолодели.

Приходит любопытная Ириша. На ней голубое платье в тон глазам, на белом личике нежный румянец. Она прислоняется к дверной коробке, я делаю новую отметину — еще немного выросла. Отмечаться она может едва ли не ежедневно.

— Пишешь хорошо? — спрашивает Сусанна, Ириша молчит.

— Обмениваемся записками, смотри: «Я скоро приту у миня алиньпийские игры».

— А считаешь как?

— Здесь десять птиц, а я первая.

Торопится меня предупредить Ириша. Поясняю:

— И у каждой своя история.

— Своя история? — недоумевает Сусанна. — И ты вспомнила все десять?

— Расскажи про синих, — подсказываю.

Иришу уговаривать не приходится. Она становится перед шкафчиком, как перед учительницей:

— Это не какие-то птицы, у которых на кончике хвоста цветок. — Сусанна странно улыбается, Ириша настораживается, — не смеется ли она. — Это — настоящие женщины. И это только так — лапы. Это — руки! Даже брови у них есть. А вообще, синяя птица — это сама Мария. Она не может ходить, — и, помолчав, добавляет: — У нее есть крылья.

Это сопоставление обреченной на малоподвижность Марии с вольными полетами ее мечты (как бы на крыльях свободной птицы), это сопоставление было у Ириши творческим трудом, а не простым взмахом волшебной палочки: был уродом — сразу стал красавцем. Я сознательно говорю: трудом. Работают и животные: лошади, собаки, буйволы. У человека трудом руководит мысль. Ириша сказала о самом главном.

Сусанна внимательно слушала. Я боялась, она скажет, что я забиваю голову ребенка никчемными фантазиями. Но смотрю, Сусанна разглядывает синих птиц, мимо которых раньше проходила, их не замечая.

У Ириши на душе смутно:

— Какая ты счастливая! Можешь делать, что хочешь. — И внезапно резкий переход: — Не хочу расти, взрослым плохо. Хочу остаться маленькой! — шепчет она и беззвучно плачет. Что случилось?

Я озадачена и встревожена. Ириша ничего не объясняет: что-то надо пережить наедине с собой. В это время приходит отец, пора ужинать. Доносятся звуки телевизора.

— Пойду посмотреть телевизор, — говорит она с такой покорностью, будто ничего другого и не остается.

Долго стоит в глазах маленькая фигурка. Одна ее рука в руке отца, в другой — комочек мокрого от слез носового платка, который сегодня утром, с таким воодушевлением гладила моим шляпным утюжком. «Смотри, мама: я сама!» — во весь голос кричала она и прыгала от полноты чувств.

Хоть и не так быстро, но поднимается на коробке моих дверей отметина ее роста. Прибавляются сантиметры, прибавляются и горькие переживания; появляется необходимость принимать самостоятельные решения.

На другой день она сказала: «Я вчера долго не могла уснуть и часто просыпалась». Что ж так больно поранило мою первую птичку?

Сижу в кресле, читаю. Приходит Ириша, становится рядом. Молчит. Перестаю читать, смотрю на нее внимательно.

— Бог... есть он или нет? Есть? — допытывается она.

— Для меня его нет, потому что я в него не верю. Я верю в Человека. В его Разум и Доброту. В беде поможет только Человек.

Великие мыслители и пророки дали Богу множество названий: «Бог Всемогущий, Творец, Свобода, Необъятность, Мудрость и Истина, Свет, Господь, Провидение, Святость, Справедливость; вселенная назвала его Богом, человек — отцом, но Солomon дал ему имя Милосердие, и это самое прекрасное их всех его имен» (В. Гюго).

Завтра снова о Боге, но в виде жизненно-философского варианта:

— Если бы я была Богом, попросила бы ты у меня большую комнату и чтобы ты стала красивой?

— Нет. Я попросила бы, чтобы нигде никогда не было войны.

— А я сделала бы так, чтобы снова жили все мертвые... нет, не все, только хорошие, как мои дедушка и бабушка.

Вспоминаю бабушку Галю:

— Обаятельной была ее улыбка. На ее улыбку твоя похожа.

Ириша становится на стул перед Зеркалом, смотрит на свою улыбку:

— Такая?

— Да, такая, — отвечаю решительно, понимая, что другого ответа и быть не должно.

— Да, да, такая, — не выдерживает Зеркало.

Помогаю сойти со стула этому разумному человечку, еще играющему в куклы. Задумываясь над Иришиными вопросами, вместе с ней расту и я. Отметина духовного роста продолжает подниматься у нас обеих. Я стала испытывать не только озабоченность: почему она плохо стала есть, не простудилась бы, давно надо стельки поменять в ее сапожках.

5. ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

... Немцы под Москвой.

Получила по корешкам продовольственной карточки муку и ем ее, запивая сырой водой. Вышел керосин. Дров нет, канализация испорчена. Хорошо, есть вода и электричество. На случай воздушной тревоги сплю одетой, укрывшись всем, что есть в гардеробе, даже ковровой дорожкой. Мучительны ночные воздушные тревоги. Первая тревога была 22 июля, ровно через месяц после начала войны. Началась в 22 часа 7 минут и продолжалась долгих шесть часов. Я в панике убежала в бомбоубежище и так торопилась, что надела платье наизнанку. Первое время, когда черная тарелка радиорепродуктора прерывала передачу и приятный баритон совсем по-домашнему спокойно и размеренно, вроде бы приглашая на чашку чая, сообщал: «Граждане, воздушная тревога», я теряла самообладание. Со временем

привыкла. Помню, как возвращалась домой после отбоя, под руку с историком, крупным ученым из соседней квартиры, Николаем Михайловичем Дружининым. Почти старик, торжественно строгий, с умным простым лицом крестьянского сына, он вел меня под руку по пустой улице, как по бальному залу в традициях доброго старого времени. У дверей моей квартиры старый ученый вежливо улыбался и отвешивал церемонный поклон. Скоро я перестала ходить в убежище, перестала бояться воздушных тревог, почувствовала огромное облегчение, когда освободилась от ожидания страха.

Однажды, первой военной зимой, на снежной целине нашей улицы, я увидела цепочку кошачьих следов под самыми стенами домов. Они вели к лазу в подвал одноэтажного дома. В солидном, еще живом доме, что напротив одноэтажного, в комнате окнами на улицу жила Надежда Петровна, моя близкая знакомая. Каждый вечер, ложась спать, она гасила свет, освобождала окно от плотной шторы и смотрела на небо — это вошло в привычку. Небо трепетало напряженной жизнью: появлялись то полосы света, то шпаги прожекторов. Не до сна Москве! А дом напротив спал мертвым сном: уже давно не видно даже самой тоненькой ниточки света в проемах его окон, заоченела от неподвижности входная дверь, остановилось дыхание у печных труб. Война обезлюдилась, опустошила дом, он просто умер стоя.

Надежда Петровна уже подняла руку, чтобы задернуть штору на окне и лечь в холодную постель, как увидела на черном фоне лаза в подвал две живые точки: на нее в упор смотрел кот. Дом, оказывается, не был пустой могилой. Они смотрели друг на друга, бездомное животное и вдова. Женщина увидела, как его рот то открывался, то закрывался: он жаловался, умолял, этот живой огонек в снежном безлюдье, ждал пищи и тепла. И женщина, поддавшись этому страстному призыву, громко ему отвечала, и кот видел, как рот ее то открывался, то закрывался, как блестели живым блеском глаза человека. В это время ожила черная тарелка радиорепродуктора, «Граждане...» — возвестил очередную недобрую весть приятный баритон. Но женщина, не обращая внимания, наполнила маленькую чашку тем, что отняла от себя, и вышла на улицу. Кот испугался и спрятался. Утром Надежда Петровна нашла чашку пустой. Вскоре с ним случилось неладное: еда в чашке осталась нетронутой. Женщина заплакала. После демобилизации мы встретились, и она сразу вспомнила кота. Я поняла, что это было не просто одним из эпизодов из воспоминаний военных лет — это была ВСТРЕЧА с Котом (как у меня — с Мухой).

Весной сорок второго я уехала на фронт. Калининская область. Не поддающаяся описанию грязь на дорогах. Все уничтожено. Ни дыма из труб, ни голоса человеческого, ни лая собачьего. Помню плохонький домишко, совершенно пустой. Стены сплошь оклеены, как обоями, страницами роскошных иллюстрированных журналов. У нас в то время таких не было. На меня смотрят полуголые красавицы в раскованных позах. Брови, прически — волосок к волоску. Длинные красивые пальцы бездельниц с ярко-красными ногтями, словно когтями хищных самок. Бездушные, низменно соблазнительные (и красивые же!), они без стыда позируют: «Берите нас. Кто даст дороже? Не изображайте притворное возмущение: мы зарабатываем на жизнь». Не могу избавиться от противного ощущения, что бесстыжие красавицы нагло меня разглядывают. Убегу!

Но вот снимок черно-белый. Останавливаюсь как вкопанная. Именно так. Будто закопали меня в землю по горло: ни вздохнуть, ни пошевелиться. Стоит на коленях со связанными за спиной руками молоденький советский солдат, кого женщины постарше зовут сыночком. Он призван недавно: на нем новое обмундирование. Сейчас его убьет немецкий офицер в присутствии группы солдат, стоящих «вольно». Идет наглядный урок, как убивать безоружного. Это очень просто:

левой рукой офицер наклоняет голову солдата пониже — так будет удобнее уткнуть дуло пистолета в затылок. На лице офицера — ни малейшего признака волнения. Это не бегом к начальству, когда не уверен в блеске своих сапог или пуговиц. В группе солдат заинтересованное ожидание: «А мы-то думали... оказывается, вон как просто!» Солдаты все как на подбор стройные, ладные, не без щегольства вымуштрованные. У них на месте совести дыра, потому что ее, совесть, вынул Гитлер: она будет только мешать вешать, сжигать, травить ядами, убивать бомбами-великанами или малютками; будет мешать превращать этих молодых парней в палачей-роботов. А те, другие парни в Германии, позволят ли они вероломно украсть свою совесть, заменив ее эрзац-патриотизмом?

Много позже мне попался в «Известиях» фотоснимок, на котором запечатлены два американских молодца-линчевателя, которые ударами ног гонят по мостовой сбитого с ног негра, как футболисты по полю мяч. По широко раскинутым рукам, по болтающимся на лбу волосам видно, что бегут они во весь дух. Вдоль улицы — главным образом зрительницы. Такие же молодые, стройные, ладные, как те их немецкие сверстники в военной форме. Молча смотрят, никто не протестует. Не так потрясает способ этой «развлекательной» футболизированной казни — потрясают выхолощенные человечьи сердца с черной дырой на месте совести. А другие американцы и американки, здесь же присутствующие, позволили, чтобы манипуляторы от политики вынули у них совесть; решили за них, кого они должны убивать, за что и как, а с кем дружить. И во имя чего? Ради чьих интересов?

Запомнился еще один снимок на стене того же домишки. На нем изображен «Смеющийся победитель», как назвал его немецкий фотокорреспондент. Летчик-победитель сидит (не очень-то ему удобно) на обломках разбомбленного дома. В одной руке термос, другая — с полным стаканом — поднята для тоста. Голова его запрокинута: он смеется! Наступит возмездие? Чепуха! Его не боится и другой победитель — Пол Тиббетс. Доныне мир не забыл его циничную браваду: «Повторись все опять, я бы, не колеблясь, сделал то же самое». Это звучит завещанием прославленного генерала американских ВВС современным фашистам, чтобы и они, не колеблясь, поступили, как и он, первым сбросившим первую атомную бомбу на первую жертву — Хиросиму. В связи с этим стоит задуматься, например, о таком признании одного из крупнейших нефтяных спекулянтов: «Мы процветаем на войнах, эпидемиях, голоде. Пока существует человеческое страдание, наша фирма и дела идут хорошо».

Точку ставить еще рано. И помещать дубину войны, а тем более неофашизма под музейное стекло еще рано.

6. ДОМ

В комнате у меня горит вся лампиония. На столе (то есть на сцене Большого театра) только что с триумфом закончилась трилогия балета «Шутка, или Быстрая жизнь»: свадьба любимой куклы Марины-балерины, рождение дочери, свадьба дочери. Ириша устала. Она — композитор, дирижер, администратор. В изнеможении раскинула руки Марина-балерина в своем роскошном наряде: шелковую косынку Ириша превратила в бальное платье, пряжку со стекляшкой от старой шляпы — в бриллиантовое украшение. Обессиленный, повалился друг на друга кордебалет — Мишка с избыточным весом и худосочная верзила жирафа, которую учила плавать Ириша, когда ее купали. Всем пора спать. Уносим прославленную труппу: жирафу в коробку, Мишку — Ирише под одеяло.

Наш Дом стоит крепко, жизнь в нем своим чередом: по трубам льется вода, струится тепло, провода работают днем и ночью. До революции в каморке под

лестницей мог побаловаться чайком и погреться швейцар: стенку, к которой прилепилась каморка, обогрела встроенная в нее печь из квартиры. Лестницу устилала ковровая дорожка. Кое-где по бокам, у основания ступенек, сохранились до сих пор металлические скобы для прутьев, которые придерживали дорожку. Выход на улицу в виде тамбура, как в подъезде. По бокам тамбура, в узких нишах до потолка с нарядными полированными дверцами хранились щетки, щеточки, ведра и прочий косметический набор для поддержания щегольской внешности подъезда — под стать франтоватому швейцару с холеной бородашкой.

Дом пережил войны и революции, не получил ожогов, не погиб от прямого попадания. Выжил. Отделался пустяками: где-то скособочились форточки; на лестнице сняли ковровую дорожку; даже металлические прутья сняли и употребили вместо кочерги для маленьких «буржук»; наполовину сорванная с петель дверь на чердак так и застыла, как балерина на одной ноге. Не повезло двери в подвал: ее изрубили на дрова. Страшно было даже только пройти мимо — такой могильной затхлостью, зловещим духом нежилья оттуда несло. В подвале расплодились крысы, изгнав бездомных кошек. Уцелела красавица Липа, не снесли в переплавку массивную медную, художественного литья, ручку на парадных дверях Дома, красу и гордость подъезда, предмет забот швейцара. Ручке часто вспоминалось, как он, бывало, поплюет на кусочек от шерстяного носка (своего собственного! — не какого-то там неизвестно чьего), сунет в мел (настоящий! не в какую-то там смесь, неизвестно из чего) и начнет тереть. Что ни говори, а лучший массажист — мужчина!

Ручка кокетливо улыбалась, намеренно забывая «комплименты» лучшего массажиста вроде: «И навязалась ты на мою голову, чертова кукла!»

Дом ждал возвращения людей — из эвакуации или демобилизованных, с ногами и руками или без них, но с головой на плечах. Не составляла исключения и комната с антресолями, в которой до войны жил редактор с женой и двумя мальчишками-близнецами. Теснота у них была невероятная, теснота всюду, особенно у редактора на письменном столе и под столом. На кровати со сломанной ножкой, кроме пуховых подушек, были набросаны цветастые наволочки, набитые всякой всячиной из хлопка и шерсти. Под кроватью стояли чемоданы, коробки с чем угодно, вплоть до посуды. Под окном стоял большой стол, средоточие жизни семьи: на нем обедали, гладили, кроили, готовили уроки. Вечерами значительную часть стола занимал редактор: ему и своего было мало. Мальчишки спали на антресолях. Их туда отправляли пораньше и незамедлительно убирали лестницу. Какое-то время слышались возня, возгласы, звуки тумачков, кудахтанья, хрюканья. Тишина наступала неожиданно: это Оле-Лукойе брызнул им в глаза побольше сладкого молока из своей спринцовки, и мальчишки сразу же засыпали. Не верите? Тогда поспорьте с самим Андерсеном. Когда засыпали мальчишки, наступала по-особому целебная для души тишина, которая бывает там, где в заботах и трудах живет дружная семья. Когда молчание не тяготит, когда молчание — тоже вид общения, доверительная беседа людей, близких по духу. Редактор правил корректуру, мать из двух-трех изношенных вещей выкраивала одну, ставила заплатки. «Чайком угостишь?» — просил редактор, отодвигая корректуру. Мать заваривала чай покрепче, ставила перед ним кружку. Его лучистые с лукавинкой глаза были совсем близко, она смущалась, как перед женихом. Ему нравилось ее смущать, и он целовал ее в губы, осторожно, легко, могло показаться — мотылек сел. Целовал и смотрел на ее согретое внутренним светом лицо с закрытыми глазами. На концах сомкнутых ресниц трепетало предчувствие его поцелуя.

Когда началась война, редактор ушел на фронт в дивизионную газету, мать с сыновьями эвакуировалась. Комната с антресолями погрузилась в пустую тишину, за-

дышалась от запаха заброшенного жилья, пугалась трескучих хлопков зениток, возни голодных крыс.

— Все будет, как до войны. Люди вернутся. Должны же они вернуться, — тосковала Дверь комнаты с антресолями. Она боялась громко признаться, что ей не хватало мальчишек. Боялась своих петель, расслабленных до критического состояния по вине этих самых мальчишек, которые на ней катались, когда матери не было поблизости.

— Своих любимчиков ждешь? — дуэтом воскликнули петли. — Ах, милые детки, катайтесь... Ах, мои милые, жить без вас не могу... Вон дверь каморки швейцара — умница: если ее грубо распахнуть, так, что она с силой ударяется о стену, она бесшумно обратным ходом, ка-ак поддаст по заду обидчика!.. А ты?

Возразить было нечего. Как-то во время очередного катания дверь распахнулась до отказа, да так и застыла с широко раскрытым ртом, будто у нее соскочила нижняя челюсть. Приятного мало!

Людей ждали и Стены-друзья — защитники на всю жизнь, хранители мыслей высказанных и затаенных, свидетели песен, счастья и безутешного стога. «Умрем, но из крепости не уйдем», — написал герой своей кровью на стене Брестской крепости. «К стенке!» — приговаривали к расстрелу. «Дома и стены лечат», — говорит больной. «Хочу умереть в родных стенах», — говорит старик. Молодой не говорит ничего: он сам и отчий Дом кажутся ему вечными. Ну, ушел из Дома в большую жизнь — что ж такого? Когда захочет, тогда и вернется!

Вон еще сколько времени впереди!.. Но настанет день, и его, молодого, неприкаянного, потянет к родным стенам, хотя бы к тому месту, где они стояли: поклониться, испросить прощения. Его может ждать самое худшее: родной Дом цел и невредим, но заселен чужими. Так же освещены окна и мелькают за ними тени людей, так же топают детские ноги по лестнице, и так же оглушительно хлопают входные двери, потому что никто не привык их за собой прикрывать. Но всё и все чужие, он сам никому не нужен, о нем просто забыли. И я ушла на фронт из Дома, этой малой частицы Отечества, — стыдно вспомнить! — не простившись, даже не оглянувшись, будто надо было сбегать в булочную, а не покинуть его, быть может, навсегда.

— Должны же они вернуться, — мечтал старый Дом, — все войны кончаются. Все будет, как до войны.

— Я первая с ними здороваюсь, — мечтала красавица Липа и как бы невзначай щекотала душистыми ветвями у Дома за ухом. Какая дочь Евы откажется подразнить своего поклонника, способного только на комплименты по причине почтенного возраста!

— А прикоснутся они к первой — ко мне, — сказала Ручка входных дверей. — Мы их дождемся, в этом я уверена. Что, все станет, как было до войны?.. Нет! Прошлое не возвращается.

— А я жду детей, с ними веселей. Ну, намалюют «Вова плюс Лида», ничего страшного, — сказала Стена у второй квартиры.

— «Я тебя лублу», — засмеялась Стена у шестой. — Ничего страшного: вымоют и вытрут.

Милый Дом! Не стыдись мечтать, ты их дождешься, своих защитников. Благодаря им ты не пережил кошмара немецкого плена. Ни один «смеющийся победитель» не превратил тебя в развалины. Ты жив и свободен.

И я осталась живой и свободной. Асы-машинисты домчали наш эшелон из Суныцянтуни в Москву, и я подхожу к Дому, который покинула 12 апреля 1942 года. Первой меня действительно увидела Липа. Как же она хороша! Первой ко мне прикоснулась Ручка — обменялись с ней по-солдатски дружеским рукопожа-

тием, и Дверь в Дом открылась: «Входи, солдат!» Но я стою, не вхожу. Обращаюсь к Дому:

- Прими меня.
- Поумнела?
- Поумнела. Прости меня, старик!
- Входи.

Вхожу. С волнением поднимаюсь на второй этаж... нет, с трудом преодолеваю ступени. Вдруг меня сильно качнуло, и я ухватилась за перила. Качнулись и они. Нечего сказать, оба мы хороши! Стою перед дверьми в нашу коммунальную квартиру. На дверях, ранее черный, дерматин теперь весь в пятнах и ссадинах, порыжел, тесьма пооборвалась. Прежний хозяин подъезда глазам бы своим не поверил. Стою изваянием. В голове перестук колес, шум встречного поезда. В теле неприятная тяжесть после неподвижности в теплушке. Кто-то посторонний, а не я поднимает мою руку к звонку. Шаги. Щелкает задвижка замка. Кого увижу? Того, кто хорошо меня знает, помнит? Или чужого, кто, может быть, занял мою комнату? Всякое бывало в те времена.

Рука дрожит, не могу писать...

Встаю из-за стола рывком, будто выдернули меня с корнем, как траву из земли. Прихожу в себя после успокоительной чайной церемонии. Не откладывая на завтра, надо просмотреть газету. С первых же строк переносюсь в современный театр ужасов: бандитские нападения, провокации, похищения людей и произведений искусств; войны — горячие, холодные, тресковые, валютные, торговые; пытки, шантаж, банкротства, подлоги, ложь; насиливание природы...

Ночь. Иришины дети видят сладкие сны на моем кресле. Не могу положить их куда-нибудь, лишь бы прибрать в комнате. Наоборот, укладываю поудобнее, укрываю своим головным платком. За стеной спит маленькая мама. Ей надо хорошо выспаться: завтра день, полный забот. Как-никак, шесть сыновей, шесть дочерей, оба дедушки, обе бабушки, куча родственников. Муж, загадочная личность, постоянно в заграникомандировках. Остается ли время для себя? Что вы... ни минутки! Сколько всего постирать, сколько супов и киселей приготовить... А ночью? Одному на горшочек надо, а другой заплакал. А рассудить стариков? Ссорятся, как дошколята, даже смешно. Детей не надо наказывать? Обязательно надо, как же без этого? Обязательно!

Ложусь наконец в постель. Спи, ты — дома. За спиной Стены — никто не нападет сзади. Стены толщиной почти метр. Теперь над головой Крыша, не ночное небо или накат землянки, а самая обыкновенная крыша самого обыкновенного московского дома. Да, старый Дом уцелел. Его Стены трещин не дали. Крышу не обожгла ни одна зажигалка. Но моя жизнь в этом Доме... Моя встреча с Мухой и все обстоятельства, при которых я с ней встретилась... Осталось ли от меня той поры что-нибудь прежнее?

Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад
Невозможно.

Помню, как учили умницы: «Найдешь новое лучше прежнего». Одна из них, встретив меня еще в шинели и ушанке, узнав, что я вернулась без мужа, только руками развела: «Столько мужчин! Не понимаю...»

Но временами на фронте, в условиях уничтожения жизни, появлялась тоска по домашнему теплу, по мужу-другу, по крепкой надежной его руке, по ребенку — любимому и желанному. Но отдам ли новому сердце без остатка? Не останутся ли в нем следы прошлого?

7. ВСЕ ДАЛЬШЕ...

Все дальше уходит Ириша от своего раннего детства. Она еще маленькая девочка и в чем-то нам подражает, а в чем-то с нами уже не соглашается и плачет, сердится, когда ее заставляют поступать по-взрослому. Я хорошо вижу острую внимательность ее глаз, иногда неодобрение, укор, и всегда радуюсь, когда она хочет чем-то со мной поделиться, когда случается вместе что-то пережить, понять, дать оценку.

Скоро день рождения Иришиной мамы. Как заговорщики, шепотом, перебираем варианты подарка. Хочется, чтобы она выбрала его сама.

На другой день, придя из школы, Ириша говорит: «Я посоветовалась с одной девочкой из третьего класса, и она говорит, что лучше всего — цветы и духи „Красная Москва“». Я соглашаюсь с решением многоопытной советчицы из третьего класса. Накануне дня рождения Ириша строго спрашивает, где подарок. Увидев флакон «Красной Москвы» и красные гвоздики, улыбается, нюхает цветы, осторожно к ним прикасается: она радуется всем своим существом. И ее пальчики радуются тоже. Утром, в самый день рождения, босая и в пижаме, прибегает взглянуть на подарок: не исчез ли за ночь? Так же свежи гвоздики, и она прикасается к ним щекой, свежей, как гвоздики. Наконец приходит писать поздравление, то есть обводить чернилами по написанному мною. «Твоя Ириша», — заканчиваю. «Мадлен», — поправляет она. Недавно маленькая мама возила свою любимицу куклу Марину-балерину в Париж на гастроли и с тех пор называет себя «французской Мадлен». Долго ее убеждаю, пока она не соглашается подписаться своим именем. Маму рассмешило пожелание, чтобы студенты слушались ее во всем и получали одни пятерки.

Полюбила Ирина игру в путешествия. Едем по льдам Арктики на... верблюдах, обратно скользим к земле на парашютах в виде беретов у нас на головах — последнее слово науки. Но внезапная авария: парашюты распадаются надвое (Ириша ударяет по столу словарем иностранных слов), и мы чуть не сваливаемся в кратер вулкана. Ириша сгребает в кучу мешочки, узелочки, чемоданчики, свертки, пакеты, коробки и коробочки. На все это укладывает своих детей, закрывает своим телом, шепчет: «Ну-ну, не бойтесь!» Я хватаю коляску с младенцем Андрюшей — можно позавидовать его спокойствию! В комнате хаос. Марина-балерина в глубоком обмороке, у Андрюши не закрываются глаза. Ириша нажимает пальцем на один глаз, на другой — бесполезно. Тогда она трясет своего первенца изо всех сил и, как последнее средство, долго держит вниз головой — все напрасно. «Беда какая! — волнуется маленькая мама. — Придется просить папу...» Как раз в это время он и пришел — дочке пора спать. Но ей хочется играть. Сверкнув глазами, она замахивается на отца, дерзит, едва не ударяет по лицу. «Лицо бить нельзя, на нем глаза, — говорю внушительно. — Ударить по глазам, а они разобьются!» Отец хочет воспользоваться ее столбняком и увести. Ириша кричит на него, на меня. На уговоры отца перестать кричать — перестает, но говорит многозначительно: «Все теперь кричат. Да! Все! И мне приятно, когда я кричу. А на кого кричат — тому неприятно» — и решительно открывает дверь: дескать, нечего меня, как маленькую, уводить «за ручку» — сама ухожу! Нечего мне тут с вами разговаривать! Я боялась, что она заболит. Пронесло.

Несколько дней не приходит. Бегает с Топой наперегонки на каждый звонок; катает Андрюшу; слышу, кричит: «Я сама, пусти!» — но меня избегает.

Пришло время сдавать мое дежурство по уборке квартиры. Как ни в чем не бывало Ириша начинает помогать. Подметает — ни соринки, ни пушинки не оставит. И обе раковины вычистила лучше меня. Я собралась идти отдохнуть, к себе Иришу

не зову: вроде бы мы в разладе? Но она идет за мной, спрашивает: «Ты не очень устала?» Я сразу понимаю подтекст вопроса, целую ее голову: «Ты мне очень помогла, спасибо тебе самое большое». Помирились. Теперь могу прочесть статью в «Огоньке», который надо срочно вернуть, но Ириша за мной по пятам. Торопясь, пока я не закрылась от нее журналом, она сообщает сенсационную новость: «А наша училка на сову похожа: нос на губу совсем опустился». — «Тогда и твоя мама — училка. Тебе приятно, если студенты будут над ней смеяться и сравнивать с летушей мышью, лягушкой, еще с кем-нибудь?»

Ириша растерянно молчит. Больше я от нее не слыхала, какая училка на кого похожа.

Вечером, чтобы снять утомление, беру записную тетрадь с выписками из Гомеровой «Илиады». Гекзаметр, которым она написана, сразу же умиротворяет, как спокойный шум моря. Отдельная строка сравнима с приливной волной: достигнув берега, замрет и тут же отхлынет. Вот это мгновение тишины у кромки берега и есть та пауза и есть та большая цезура, которая разделяет строчку на две части. Не могу вспомнить, кому принадлежит это объяснение гекзаметра.

Перелистываю записную тетрадь. Песнь XVIII. Здесь о роботах, как их себе представлял древнегреческий бард почти три тысячи лет тому назад:

После, в хитон облачившись, он толстый взял посох и в двери
Вышел, хромая. А рядом, опорой служа для владыки,
Две поспешали служанки из золота, точно живые.
Был у них разум внутри, и могучая сила, и голос,
И от бессмертных богинь научились они рукодельям.
Обе спешили с владыкой, и он, волоча свои ноги,
Перед Фетидой предстал и на трон опустился блестящий.

Привратник Зевсова дома тоже был золотой с разумом внутри и тоже вышел из рук хромого искусника Гефеста.

Сегодня я изображаю врача, на мне медицинский халат. Ириша приводит своих детей на консультацию: у Марины ангина, у Андрюши скарлатина. Она рассказывает:

— Если дети кричат во все горло, значит, у них в организме что-то не так. Он такой маленький, — гладит Андрюшу по голове, — еще не привык к жизни, вот и кричит, ведь еще не так давно пил материно молоко.

Я надавливаю Андрюше на живот, измеряю температуру и прописываю витамины на листке бумаги в виде рецепта. Ириша ткнула витаминное драже Андрюше, кажется, в нос и тут же его съела, она очень любит витаминное драже. С ангиной у Марины оказалось сложнее.

— У нее в горле воспаление, а в животе загрязнительный запор, — говорит Ириша и трясет Марину. — Сейчас клизму тебе заправлю и будешь лежать два часа, — тороплюсь под видом записи в историю болезни записать это сногшибательное словотворчество.

Оказалось, что и Жанну-обожанну надо серьезно лечить: у нее сломана рука. Ириша объясняет:

— У нее кость проходит в руке по самой середине, ее надо вынуть. И мясо у нее возьмем, она полежит без мяса. Все это проинфируем и положим обратно.

Я соглашаюсь. «Ох, какие искры!» — восклицает Ириша, когда я все это проделываю. Когда зверские манипуляции закончены, она берет на руки своих детей, две переполненные сумки, зонтик (фокус на равновесие!) и уходит... нет! — уплывает с той улыбкой, с какой слушают любимую музыку. И я улыбаюсь, глядя на маленькую маму. Слушаю тихую музыку внутри себя.

Однако Ириша может быть совершенно другой. Возбужденная прибегает со двора и «выкладывает» какой-то дрянной стишок из тех, какие ребята постарше передают шепотом один другому в укромном закоулке. С моей стороны «взрыва» не последовало, чего ей, должно быть, хотелось. Тогда скороговоркой повторяет стишок. Спрашиваю: «И тебе нравится?» Такое скрытое нравоучение ей не по душе, и она почти кричит: «Очень даже нравится!»

На другой день приходит со всем своим кукольным семейством, мою комнату заливает свет улыбки нежно-розовых губ, голубых глаз, всего личика, всей фигурки, особенно рук, обнимающих детей. «Опыт ты пишешь?» Это означает: «А мне так хочется поиграть...» Не в состоянии погасить эту улыбку, быстро убираю со стола свои тетради, на ходу обрывая что-то очень важное, до чего наконец додумалась. Затевается большая игра с фантастическим путешествием в жаркие и холодные страны, с неперменной аварией на пути домой, с непременно счастливым концом. Во время такой большой игры Ириша будет переставлять стол и стулья, из пледа делать крышу и командовать мною. Подчиняюсь беспрекословно и даже укладываюсь спать на «двугорбом верблюде».

Кто же научил Ирину этому пакостному стишку? Ася-колбаса? Коротышка, полная не по годам, в платьях в обтяжку — не успеют купить, они становятся малы. Нет, не она... Нет в ней ни «изюминки», ни «перчинки» — такая преснятина детям не нравится. Защищаемая мамой и бабушкой ото всех и всего, она, чуть что не по ней, царапается. Потом приходит мириться и механически повторяет, как таблицу умножения: «Я пришла мириться». По-настоящему мириться она не собирается: тогда нельзя будет царапаться. Иришиной маме это надоело, и как-то она довольно нелюбезно процедила: «Ну, хорошо. Только это в последний раз». Колбаса выдавила глупенькую улыбку, но, уловив непривычную резкость в голосе Оксаны, захныкала и убежала. Наверно, дома скажет, что ее обидели. Так и есть! Хлопнула дверь черного хода, и через раскрытое окно было слышно, как она бежит уже с громким плачем. Нет, не Ася первая познакомилась с этим стишком: для этого надо иметь смелость и предприимчивый задор. Тогда Зинка-тонконожка? А может быть, кто-нибудь с соседнего двора? Сержусь на саму себя: зачем доискиваться, кто научил? Если найду — разве тогда этот стишок сам собой испарится из Иришиной головы? Но о Зинке-тонконожке рассказать хочется.

Поражают ее глаза, маленькие, тусклые, неопределенного цвета, без глубины. Заглянуть в них нельзя: не пускает как бы стена, за которой она укрыла свою душу: «Не смотри, не пушу, нет у меня никакой души...» Тепло материнской ласки, добрые шутки отца, налаженный уклад дружной семейной жизни... для Зинки это все — «розовая водичка», сказки-побасенки. Какая уж такая ласка матери, этой по-мужски сильной, хриплоголосой матерщинницы. Она работает в оранжерее, и у нее дома стоят в банках чудесные цветы, это ее хобби. Зинку я увидела впервые в холодный день на улице перед нашим Домом. Легко одетая, она играла в мяч, чтобы согреться. Я пробыла в магазинах довольно долго и, возвращаясь домой, еще издали услышала удары мяча. Оказалось, она не может попасть к себе в квартиру, ей не открывают. Может быть, просто никого нет дома? Но увидев свет в одном из окон флигеля, в котором она живет, решила ничего не выяснять и увела Зинку к себе поужинать. В соседней квартире потом сказали: «Вы бы от нее подальше, она из блатной семьи». И даже дети. «Она — воровка», — объявляет Ася, испытывая удовольствие безнаказанно посплетничать. Ириша не отстает: «У Вовки двадцать копеек отняла». — «На дерево забросила Надькин шарф», — продолжает Ася, но я решительно перебиваю: «И стишок вам читает». — «Читает», — с разбегу признает Ася. Неожиданно ответ нашелся, но это несколько не мешает моему сочувствию некрасивой

Зинке-тонконожке. Ноги у нее действительно несоразмерно тонкие, будто их ей приставил от чужого туловища недобрый насмешник.

Через несколько дней, когда мы обе, Оксана и я, занимались на кухне своими делами, с черного хода появляются одна за другой: Ириша, Зинка и любопытная Ася. Зинка что-то прячет за спиной. Она молча подает Оксане гвоздики, мне — мои любимые чайные розы. «За ласку», — говорит она, и на мгновение в ее оживших глазах сверкнули теплые блески. Чудные розы! Я надолго их сохранила, не переставала ими любоваться. Я получила их за проявление самого обыкновенного участия к ней, к девочке из блатной семьи, за горячий ужин в теплой уютной комнате, за улыбку, радушие, наконец, за тревогу, чтобы она не простудилась. За женскую ласку совершенно чужой женщины. Ее-то как раз не хватает этой одинокой в своей семье девочке с пугливыми глазами.

Своими вопросами Ириша буквально осаждает:

— А что ты любишь больше всего?

Отвечаю, не задумываясь:

— Книги.

— А людей? Кого любишь больше всех? — Ириша перечисляет моих близких, кого знает. Я добавляю.

— А еще?

— Еще? Их нет в живых.

— А я?

К лицу прихлынула горячая волна стыда и досады на себя: ее, Иришу, первой надо было назвать! Все ее вопросы были как бы вступлением к самому главному «А я?». Молча обнимаю ее, целую русую головку. Я давно убедилась, что она не просто смотрит на окружающий мир, а разглядывает, оценивает. Как-то она говорит:

— Я вижу, у тебя самая маленькая комната, самая неудобная. А ты вроде довольна.

— Довольна. Мне в ней уютно и хорошо. Любимые книги. Синяя Лампа.

— И живешь ты... — она запнулась. Я мысленно закончила: «Скромнее всех». Разглядела-таки!

В этот день на душе на редкость смутно. Лучше бы Ириша не приходила со своими вопросами, хочется побыть одной. Ириша замечает мое состояние и решает помочь:

— У тебя есть я.

Отец души не чает в своей единственной дочери. Когда она была совсем маленькой, ее платица и белье стирал, кашу варил, соки выжимал. Ходил на бульвар к тому месту, где в прогулочной группе играла Ириша и, спрятавшись за деревом, смотрел, как она играет, не упадет ли, не ушибется ли. Как-то отец с дочерью зашли в Музей музыкальной культуры имени Глинки. Этой паре, привлечшей внимание, снимали со стенда инструменты и показывали, как на них играть. Побывали всей семьей в пушкинских, лермонтовских заповедных местах, ездили по Крыму, Прибалтике. Отец гордился дочерью. Ему казалось, что на них заглядываются, это было невыразимо приятно, волновало.

С отцом Ириша капризничала, требовала, с матерью остерегалась.

Могло показаться, что дочь командует отцом, но он подчинялся ей только в малом. В более важном отмалчивался и незаметно поворачивал по-своему. Они любили играть в прятки, возиться на громадном дедовском диване, это доставляло удовольствие обоим. Однажды слышу, оба бегают по коридору, заразительно смеются.

— Какая светлая добрая жизнь! — слышится в смехе Ириши, и смех ее похож на песню.

Они разбегаются, наступает тишина. Ириша успеваешь спрятаться. Отец находит ее под столом и целует — он самый счастливый отец!

— Ты моя, никому тебя не отдам, — не скрывая сокровенного, ласково журчит его смех.

— Убегу — не удержишь! — задорно заливаясь Ириша, и ручеек ее смеха несет-ся без удержу вперед, дальше. Она еще может убежать в соседний двор, игра в ку-клы пока еще интереснее школы. Но скоро, как птица-женщина Марии Буряк, сор-вется с родительской ветки, какие бы дивные цветы на ней ни росли, и улетит на-встречу Большой Жизни. Тогда удержи ее, поймай!.. Она улетит дальше. А там что, за горизонтом? Полетит и за горизонт.

Еще не раз вспыхивал смех, начиналась веселая возня, уже была Ириша подрост-ком и под столом не умещалась, прячась от отца, «крылья» только еще подрастали, но скоро за горизонт она полетит и достоверно узнает, растут ли Камни.

До этого Владимир Дмитриевич не дожил: был убит бандитами, переодетыми в милицейскую форму, чтобы угнать «Жигули». Он ехал в Крым привезти жену и дочь к началу учебного года. Мы все его убеждали взять пассажира, ехать хотя бы вдвоем, к тому же не на ночь глядя, но он заупрямился, отшучивался, что ему не терпится искупаться в море. Убийц не нашли. Мы пережили смятение, ужас, пси-хический стресс.

Владимир Дмитриевич учился играть на виолончели. Перед своим роковым отъ-ездом в Крым он оставил ее прислоненной к книжному шкафу. Открываю дверь — и прежде всего бросается в глаза виолончель. Но и после того, как ее убрали, все рав-но, входя в комнату, я ожидала увидеть ее на своем месте.

Как легко высыхает на листьях роса!
Исчезает роса по утрам — и является вновь.
А когда человек,
Раз умерший, воротится к нам?

Это — песня «Роса на листьях». Древнекитайская литература. Из ханских пе-сен Юэфу.

8. НАВЕКИ РАНА

Приехала Сусанна с внуком. Я не успела убрать мои военные реликвии. Дима тя-нется к красноармейской книжке — драгоценной книжке, покрытой медно-бордовой тканью, с черной звездой наверху. «Бабушка, отдай», — хнычет Дима, когда Су-санна хочет посмотреть (она видит ее впервые), и тянет бабушку за руку. «А ты что обещал?» — повышает голос вспылчивая Сусанна. «Тут картинок нет», — говорю примирительно. Сусанна перелистывает книжку. Она поражена: «Присягу принима-ла в редакции газеты, а потом — прачечная... Ты никогда не говорила, что работа-ла в прачечной. Прачкой?» — «Потом. Я чаем займусь». Совсем не хочется вспоми-нать прачечную, касаться этой самой болевой точки фронтовых воспоминаний.

Процедура чаепития на какое-то время задерживает любопытство Сусанны. Ириша и Дима сидят за столом рядом. Дима кривляется, изошряется в гримасах, же-лая привлечь внимание Ириши, а она, как бывалая гостья, жеманно откусывает пирожок с таким видом, будто рядом с ней никакого Димы нет. После чая Дима уходит «на разведку». У него игрушечный автомат дикого, пронзительно-морков-ного цвета. Ириша выкатывает кукольную коляску. Она то пристегнет полог, то отстегнет. На дно коляски кладется матрасик, не тряпичный блин, а ватный, кры-тый тиком, стеганный, грех не залюбоваться подушкой с наволочкой на застежке, с кружевцем, и красным одеяльцем. Теперь можно Андрюшу пеленать. Разгадать

секрет, как это делается, при самом страстном желании невозможно. Когда все готово, Андрюшу... «распаковывают», и укладывание начинается снова, но в другом варианте. Наконец Ириша берет на руки своего сына, целует его, укладывает, ловко застегивает полог и отправляется в свой «сад». Димы не слышно. «Что еще он придумал?» — встревоженная Сусанна выбегает в коридор. Новое пальто Иришиного папы на полу, из кучи других смятых на вешалке пальто и плащей торчит автомат. Сусанна, едва сдерживая раздражение, тащит Диму за руку: «Забыл? А ведь обещал...» Я прикрепляю к его курточке одну из моих медалей. Дима замирает, потом срывается, едва не наступив бабушке на ногу, и убегает. «Последнее время сладу с ним нет, — говорит она, — устроил в комнате засаду, привел еще одного, соседского, оба орут, а я — терпеть? Говоришь, надо переключить на что-то другое. Тебя бы на мое место! Ладно, время идет. Пока доеду, — говорит Сусанна, — давай о прачечной расскажи». Теперь не отвертеться!

Рассказываю о ночной сушке белья, о супе из вороны, о возвращении колхозников на родные пепелища... но не о главном, не о гибели в горящем танке нашего лейтенанта.

Наконец одна. Я обессилена: растревожена воспоминаниями о том, о чем не хотелось рассказывать Сусанне; утомлена суматошным концом вечера и возрастающим предбессонным возбуждением — разве уснешь? Бросаюсь в кресло, закрываю глаза. Справа, на рабочем столе, — Синяя Лампа. Она освещает плечо, руки на коленях. Наперсница? Да, знает то, чего не знает никто. Даже черновые тетради. Друг? Безусловно! Светит и в печали, и в радости, напоминает о родном Доме детства, соединяет с прошлым.

На дворе темная ночь. А я вижу светлый весенний день. На берегу большого ручья расположилась прачечная нашей дивизии. Пять прачек, повариха Женя Калугина, вчерашняя школьница, два солдата да я — на сушке белья, а над нами начальник — пожилой сержант Кузнецов. Каждый день стирать в деревянных корытах без стиральных досок, весь день дышать паром и запахом плохого мыла военных лет, слушать монотонное шорканье белья. Прачки знали, их в газетах не прославят, орденами не наградят. Ну что ж, корытом и куском мыла тоже можно воевать: ведь и солдат лучше воюет, когда на нем чистое белье. Остроглазые были прачки и великие насмешницы — на язычок лучше не попадаться. Когда же ругались, беги подальше! Окончив стирку, прачки могли отдохнуть, ночью отоспаться. А у меня работа была ночная: за чистым бельем старшины приезжали по утрам. В притороченном к седлу мешке, бывало, привезут свежий ржаной хлеб (какой был вкусный!) или соленую воблу — всем нам товарищеское подношение, лакомство.

На берегу ручья, в металлической бочке кипело и клокотало. Огромный палкой, отбеленной в кипятке со щелоком, бригадир — рябая Нюра — мешала белью. Под бочкой трещало, шипело, стреляло все, что могло гореть. Об этом заботились солдаты, пожилой Соболев и молодой Иванов. Пожилой и сам был красивый, и фамилия у него была красивая. Он знал цену себе и своей улыбке. Иванов был смешлив и смеялся порою без причины. При этом его десны высоко обнажались. Казалось, вылезет череп через рот. Сначала это поражало настолько, что не доходило, над чем он смеялся. В Соболева была влюблена маленькая, чистенькая, домовитая Катя, наша лучшая прачка. Соболев относился к ней с напускным хладнокровием, однако идеально выстиранное белье надевал с удовольствием. Иванов страдал экземой, его мучил зуд. Когда становилось невмоготу, он терся спиной о дерево, оглоблю, обо все выступы и края с гримасой страдания. Ложки не употреблял — пил пшенный суп из котелка, как чай из кружки. Эх, мяса бы в котелок! А что если... ворону? Старые деревья за прачечной облюбовала стая горластых ворон. Задолго до

того, как прилететь стае на ночевку, Иванов тесно прижался к стволу дерева, винтовку упер в землю так, что они оба слились со стволом.

Суп из вороны был подернут желтым жиром. Я отважилась глотнуть еще раз. Ничего страшного не случилось: не было у супа ни привкуса, ни неприятного запаха. Вторая и третья попытки полакомиться вороньим мясом не удались. Не то что оторвать от себя винтовку и прицелиться... вороны галдели, бранились, возмущались на всю округу, стоило Иванову появиться и без винтовки, просто по своим делам.

Поварихе Жене не давалось искусство с одного маха расколоть полено, Оно шаталось, колун откалывал одни щепки или застревал в полене так крепко, что приходилось звать на помощь Иванова. Он ее учил, как дрова укладывать решеткой или горкой, приносил воду и березовую золу — чистить посуду. Иванов привязался к Жене, а она незаметно возмужала, даже выросла, превратилась в милую девушку.

У бригадира Нюры — могучие плечи, сильные большие руки. Склонная к полноте, на вид тяжеловесная, она двигалась легко, красивым движением оборачивалась, когда ее звали. За ней ухаживал ординарец заместителя командира дивизии по тылу. Сухощавый, складный, он пружинисто касался земли, был приметен стройностью и отличной посадкой в седле. Как-то я прилегла отдохнуть под кустом на берегу ручья.

С другой стороны подошли двое, сели с противоположной стороны куста, почти рядом со мной, и продолжали начатый разговор. Это были Нюра и ординарец. Он убеждал, злился, просил, поминутно добавляя общеизвестное нецензурное ругательство из трех букв, как механически добавляют слова «значит», «вот» или «короче говоря». Оно настолько было привычно, что пропускалось мимо ушей. Нюра молча посмеивалась. Он ей нравился. Ей доставляло удовольствие его поддразнивать: «Так тебе и надо. Женатый да с детьми. Тоже мне... жених!» Но поссориться с ним не собиралась: кто его знает, как повернется дело.

Начальник прачечной, новгородец Кузнецов, высокий, худой, ходил, как летает моль, — в непредсказуемых направлениях, но никогда ничего не задевал, не опрокидывал. Ровно в пять утра раздавался его тенор: «Девицы, подъем!» Кузнецов управлял своим хозяйством незаметно. Не помню ни одной ссоры, пересудов, косякх взглядов. Его уважали.

У меня в сушилке всем управлял Соболев, колдовавший у железной бочки, переделанной в печь. Ему легче, он внизу, где есть тяга, хоть какой-то поток воздуха. А я наверху, где мокрая жара. За ночь сменю не одну пропотевшую рубаху, не лягу на земляной пол, где прохладно. Днем из сухого белья отбираю то, в котором вши. Осколком зеркального стекла, как скребком, счищаю гниды, убитые кипячением.

Дисциплина в армии — это само собой. Но было что-то еще, о чем не говорилось. Мы, прачки, понимали, что без нашей работы не обойтись. Мы были с солдатами наравне, мы чувствовали себя солдатами Красной армии.

За ручьем, в молодом лесу, появилась танковая бригада. Зачастили к нам в гости ребята, по три-четыре человека, с ними лейтенант. Однажды он пришел в сушилку. Московский водитель персональной машины, ему работалось легко, но неинтересно и скучно. Вся радость жизни, ее смысл заключались в общении с единственным сыном-подростком — его другом. Жена? Отвечал общими фразами, от ответа уходил. Любил показывать фотографию сына: «Кончится война, он подрастет, с ним уже можно будет поговорить обо всем». Не торопясь, он прятал фотографию в карман, перекалывал ее, укладывал, медлил отнять пальцы — дескать, малость потерпи, мы скоро встретимся, кончится же когда-нибудь война...

Были у нас две комсомолки, всеми забытые. Я отправилась к секретарю партбюро дивизии, гвардии майору Полякову. Знаменательный получился у меня с ним раз-

говор, не помню, с чего он начался. Он сказал: «Ты хоть и женской породы, а молчать умеешь. Покрепче держи язык за зубами. Уважай слово. И себя уважай. Поняла?» — «А еще?» — «Еще? Если наобещала — выполняй. Пацану конфетку посулила, доставай хоть из-под земли. Тут нет ни малого, ни большого, потому что честь твоя затронута. И последнее: в любой неприятности ищи прежде всего, в чем виновата сама. И мотай на ус, чтобы не ошибиться второй раз». — «Вы нас забыли. А у нас две комсомолки».

Он обещал прислать заместителя по комсомолу и передал довольно крупную сумму денег:

— Отошли своей старухе, а мне посылать некому.

Моя старуха — это мамина подруга, Евгения Ивановна Прибыльская. В мою красноармейскую книжку она была вписана как приемная мать. Юридического оформления не было, я это сделала самовольно. Взяв пачку денег, я что-то в растерянности говорила, но майор не стал слушать и дал небольшую книжицу — рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Мне захотелось прочесть его прачкам и нашим гостям-танкистам, лейтенант согласился.

С первых же строк рассказа танкист Егор Дрёмов встал рядом с нами, простой, тихий, обыкновенный. Среди других был замечен сильным и соразмерным сложением и красотой — бог войны! Была у него невеста, очень хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождетя, хотя бы он вернулся на одной ноге. Ноги целели, но лицо... Во время Курского побоища его танк был подбит снарядом и взорвался. Одежда на Егоре горела, а лицо было так обуглено, что местами виднелись кости. Он выжил, не ослеп. Ему восстановили нос, губы, веки, уши. Он стал уродом.

...Течет безымянный ручей, лепечет непонятное. Изредка булькнет: «Куда же это я? В океан?» Течет и рассказ об Егоре Дрёмове в наши сердца.

Егору дали отпуск. Он побывал дома. На том же месте старенький шкафчик, где все те же рыболовные крючки в спичечном коробке, чайник с отбитым носиком, где так же пахнет хлебными крошками и луковой шелухой. И пусть кто-нибудь из моих слушателей родился не в бревенчатом доме, не в избе, а на энном этаже городского дома, в родном доме он все равно побывал. Мы все любовались красивой Катей, невестой Егора Дрёмова. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант Дрёмов даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые, светлые волосы! Только такой представлялась ему подруга: свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и своя изба стала золотая...

...Не у всех наших была подруга или невеста. У того, у кого была, возможно, она и не светловолосая, и брови не взлетают изумленно, и не так уж она красива. Но каждый из них увидел свою подругу такой, какой ее видел Егор Дрёмов: и нежна... и весела...

И каждая из прачек видела себя Катей Мальшевой, которую любит сильной чистой любовью сильный чистый человек.

Конец рассказа. Егор Дрёмов не уходит. Запомните, молодые танкисты, как он поступил, когда его признали инвалидом. Он пошел к генералу и сказал:

— Прошу вашего разрешения вернуться в полк!

— Но вы же инвалид, — сказал генерал.

— Никак нет. Я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью.

Танковая бригада вскоре ушла. Через некоторое время, когда двинулись и мы, повозки нашего прачечного хозяйства ехали по опушке леса, сзади послышался грозный рокот, повеяло запахом бензина. Нас обгоняли танки. Мы остановились,

втиснулись в лес. Брызгая комьями земли, неслись один за другим наши танки, ломая с другой стороны дороги подлесок. Ураганный вихрь, человеческая воля, бешеное движение в едином порыве. Стоящий в полный рост в открытом люке командир поприветствовал нас рукой, нас, солдат — прачек!

Мы направлялись в подсобное хозяйство — дивизии нужны были овощи, свежие и соленые. Хозяйство обосновалось на месте небольшой разоренной деревушки, в которой сохранились две избы. Среди солдат нашелся пекарь — прежде всего наладили выпечку хлеба. Нашлось много работы сапожнику: на комковатой сырой земле обувь «горела». Я была кем-то вроде писаря, ездила за газетой, во время обеда за длинным столом под открытым небом читала ее вслух моим товарищам-солдатам. Писала письма таджикам, казахам. В благодарность они совали мне кусочки сахара и так по-детски открыто улыбались, что в ответ улыбалась и я. И брала это, не особенно чистое, в карманной трухе, угощение.

Неожиданно у нас появились соседи, небольшая группа колхозников, ранее здесь живших и успевших скрыться от немцев в дальнем лесу. Впереди шел старик, выбрасывая перед собой палку. Он тяжело дышал, как лошадь с запалом. За стариком — женщина с мальчиком. Босая, простоволосая, в вылинявшей юбке, похожей на старую тряпку, и в такой же майке, она вела на поводу корову. Шли быстро, вольно, обдуваемые теплым ветерком. Она шла по родной земле России, неухоженной, неродящей, но — по своей, по родной, вопреки плану «Ост», разработанному дотошно, со всеми его пунктами и подпунктами.

Они пришли на голое место. Нужны крыша над головой, на столе кусок хлеба и книга для детей. Но есть своя власть, есть руки, готовые на любую работу ради жизни, ради будущего, ради детей. Наш начальник дал им соли и мыла. Они жили рядом с нами, но мы не слышали громких разговоров, а о присутствии детей и догадаться было нельзя.

В самом зените жаркого лета, просматривая газету и выбирая, с чего начать очередное чтение новостей, я прочла о гибели нашего лейтенанта, как называли его прачки. Сгорел в танке... подвиг... награждается посмертно... Сын нашего лейтенанта, узнав о героической гибели отца, быстро повзрослеет, так и не узнав, как страстно желал отец разговора с ним по душам, как мужчина с женщиной.

А жена? Давно мужа забыла и нашла другого, поддавшись расхожей среди некоторой части и фронтовиков, и тыловиков «философии» того времени: «Для кого себя бережешь? Для червей могильных? Один раз живем». Или вспыхнула в ней любовь запоздалая, неразделенная, горькая?

Почему эта смерть так сильно потрясла? Смерть была кругом и в самом разном обличье. Я им увлекалась? О, нет! Он задел своей любовью не к женщине, к сыну. Боль становилась еще сильнее при воспоминании о его пальцах, поглаживающих карман с фотографией: будто ему, сыну, любимому другу, поглаживая по плечу, говорил: «Я с тобой, мы скоро встретимся». Должна быть пронзительно острой, особо нежной любовь отца к сыну, когда между ними такая непреодолимая пропасть, как война.

Гибель нашего лейтенанта проникла в сердце и прожгла рану бескровную, невидимую, незаживающую. Тема для баллады с трагическим концом. Но я знаю другую тему: о любви раненого, которого я видела первый раз, и о моем ответе, совершенно неожиданном для меня самой, на эту любовь.

Командир нашей хозроты, где я была писарем, после тяжелой контузии дергается, матерится: «Эй, вы, такие-разтакие, с дороги не сворачивайте — минами все наштиповано!» Весь день он был возбужден, с утра ехал в трофейном кабриолете под огромным красным зонтом, потом рядом с ним появился незнакомый офицер. Править красавицей Сильвой, молодой гнедой кобылой заместителя командира

дивизии по тылу, было одно удовольствие. Она «играла», кокетливо мотала головой, вся пружинистая, на тонких изящных ногах.

Дорога круто сворачивает под прямым углом, огибая поле, и вдруг видим: по этому полю едет наш командир со своим спутником. Раздается сильный глухой удар, будто огромным кулаком трахнуло по столу. Ударило и меня в грудь. Взвилось черное облако, из него «что-то» стало вылетать, описывая дугу, и, наконец, какой-то большой мешок. Одновременно вылетела, как снаряд из дула пушки, Сильва с обручками оглобель. Мешок шевелился — это был живой человек. Крикнули двух добровольцев. Ждать не пришлось. Сразу выступили два пожилых ездовых, поглубже надвинули шапки, подоткнули полы шинелей за пояс, трижды поцеловались, поклонились в пояс честному народу и, перекрестившись, ступили на заминированное поле. На нем можно было хорошо различить контуры больших плоских тарелок противотанковых мин, едва засыпанных землей, — очевидно, немцы торопились.

Солдаты принесли ногу без сапога нашего командира, планшет и еще «что-то». Мешок все шевелился. У Сильвы были оторваны копыта задних ног. Ее застрелили выстрелами в оба уха. Ружейным залпом почтили память погибшего. Матери напишут: «Пал смертью храбрых». Незнакомца положили ко мне на повозку. Надо как можно скорее отправить его со встречной машиной в Каунас. Но машины нас только обгоняли — шло наступление. «Зина, где же ты?» — бредил офицер. И тут случилось непредвиденное. Я быстро положила руку ему на голову и прошептала: «Не тоскуй, я с тобой». Неизвестная Зина слилась со мной, и он обращал ко мне свою мольбу: «Любишь?! Скажи, наконец...»

Он тревожно зашевелился, застонал: «Любишь?» — Я наклонилась к нему: «Люблю, я с тобой, что бы с тобой ни случилось». Я говорила все то, что могла бы сказать любимому, если бы он у меня был. И слова любви, обращенные к бредившему, не были пустословием. Передо мной не было чужого мужчины. Был в данное время невидимый, но, оказывается, реально где-то существующий любимый. Он меня слышит, отвечает, уже давно ждет от меня именно этих слов. Такой поток любви потом уже больше никогда не изливался. Пусть капли остались, но они живительны. Бредивший не сомневался, что перед ним его Зина. Лицо его, просветленное, вдохновенное, заставило меня отключиться от окружающего, забыть, где нахожусь, забыть, что смерть рядом.

Только под вечер мы остановили встречную машину, ехавшую в Каунас. Офицер умер в том же день. Врачи сказали, что поздно привезли.

9. ИРИША ПИШЕТ СКАЗКУ

— Ну что ты все время пишешь? Не надоест?

У Ириши плохое настроение, и я предлагаю:

— Давай прочту тебе хорошую сказку. Ты ее не знаешь и посмеешься. — Губы ее надуты, голова упрямо наклонена вперед: не иначе, бодливый теленок, сейчас проткнет рожками. — Называется «Ганс-Чурбан». Написал ее Андерсен.

Ириша на распутье: то ли заплакать, то ли убежать: «Вот заставляют...» С трудом (какая же она тяжелая!) усаживаю ее на кровать и обнимаю, неподатливую, упрямую, и начинаю читать сказку про датского Иванушку-дурачка. Непонятное пересказываю.

По всей стране объявили, что королевская дочь выйдет замуж за самого находчивого, кто не растеряется при любых обстоятельствах.

Старший брат вызубрил наизусть свод законов, средний — комплект столичной газеты за весь год. Оба брата, принаряженные и напомаженные, оседлав красавцев коней, помчались в столицу. Младшему, Гансу, по прозвищу Чурбан, коня не дали. Но он не растерялся и помчался вслед за братьями на собственном козле: уж очень ему захотелось жениться! По дороге он подобрал дохлую ворону, стоптанный деревянный башмак и доверху наполнил карман грязью из канавы.

Чувствую холодную Иришину отчужденность: «Разве ты не понимаешь, что я слушаю из вежливости? Хочешь читать — читай. А мне неинтересно». Но я продолжаю читать.

Зубрежка братьям-щеголям не помогла. Во дворце, в жарко натопленном зале с зеркальным полом, в котором они видели себя вверх ногами, от чего у них закружилась голова, они все перезабыли, и королева их прогнала.

Когда на своем козле въехал Ганс-Чурбан в затасканной рабочей куртке, с огромным, оттопыренным на животе карманом с грязью, королева была в восторге: ей до одури надоел дворцовый этикет, и она с любопытством ожидала, что будет дальше.

— Ну и жарница! — проворчал Ганс-Чурбан.

— Это я цыплят жарю, — сказала королева.

— Вот здорово! — проговорил Ганс-Чурбан. — Значит, можно поджарить и мою ворону?

— Конечно, — ответила королева. — Но на чем ты ее зажаришь? Сковородки нет. Котелка и того нет.

— А у меня есть, — сказал Ганс-Чурбан. — Вот посудина и даже с оловянными ручками. — И он вытащил старый деревянный башмак и положил в него ворону.

— На целый обед хватит, — сказала королева. — А подливу откуда возьмешь?

— Да она у меня в кармане! — ответил Ганс-Чурбан. — Бери, не жалко! — И он зачерпнул полную пригоршню грязи.

— Вот это мне нравится! — воскликнула королевская дочь. — На все у тебя ответ найдется! Ты за словом в карман не лезешь, и я за тебя замуж выйду!

После таких слов Ганс-Чурбан, еще не надев короны, но уже почувствовав ее на голове, и здесь не растерялся и вымазал грязью лицо муниципального советника. Ведь он «опаснее всех: выжил из ума, издает газету, на которую нельзя положиться, значит, обманывает народ». Когда я читала диалог Ганса и королевы во время приготовления обеда из дохлой вороны под соусом из грязи, — диалог, заменивший объяснение в любви, Ириша неуверенно хохотнула, потом, по-щенячьи повизгивая, смеялась громко, долго, всласть, понравившуюся сказку я читала снова. И снова она заливалась громким смехом.

На другой день Ириша молча подает томик Андерсена: читай. И я читаю! И на следующий день — читаю! И думаю: как же не хватает ей смеха! Ей, маленькой девочке среди взрослых, с их взрослыми делами и заботами. Шутки, розыгрыша, смеха в семье — вот чего ей не хватает.

Оставшись одна, я задумалась: сколько еще можно читать эту сказку? Потеряв меру, можно вызвать пресыщение, которое перейдет в отвращение. Тогда попробую прочесть Ирише сказку или рассказ!.. Чем равноценным — нет, большим по силе воздействия! — заменить насмешника Ганса? Может быть, чем-то противоположным? А что если... «Русалочкой»? Смех сменить слезами, светлыми слезами от соприкосновения с чистой любовью, по силе, красоте, мужеству своему несколько не уступающей любви Джульетты. Ромео был рядом с ней, любил ее безраздельно. Принц же любил Русалочку как милого послушного ребенка... и только. Даже решил ей спать на бархатной подушке у дверей своей спальни.

Мысль прочесть Ирише «Русалочку» не давала покоя. Разве одна только фабула тронет Иришу? Разве только одни приготовления нужны ей, когда она собирается на прогулку с Андрюшей? Не забуду ее шепота: «Малышка ты мой, любишь свою маму?» Этот призыв маленькой мамы, обращенный не к резиновой кукле, а к живому человечку, своему сыну. А разве забыть эти полные горестного отчаяния возгласы: «Не хочу расти! Не хочу быть взрослой! Взрослым плохо!»

Так ли уж много нам, взрослым, известно о ее духовной жизни? Она уже достаточно сложная. Пусть узнает «Русалочку»! Пусть соприкоснется с музыкой слова; пусть соприкоснется, если не поймет, с высоким пафосом чувств — противоядием от стереотипов любви и всяческих ее эрзацев.

Вспоминаю Иришин рассказ о женщинах-птицах Марии, когда Ириша еще училась считать: «Мария не может ходить, — закончила она и, помолчав, добавила: — Но у нее есть крылья». Разумеется, не крылья из перьев, как у живой птицы, но она поняла самое главное.

Да, прочту «Русалочку»: поймет. По-своему, но поймет. Как по-своему поняла проблему Бога.

Посторонись, милый Ганс! Звуки твоего смеха сменит шум моря, плеск волн, Русалочка выйдет из пены на берег маленькой северной Дании, чтобы растрогать сердца людей повестью о своей большой неразделенной любви. Той возвышенной, всепоглощающей Любви, которая сильнее Смерти. И ты, Смерть, посторонись, уступи дорогу Любви, возвысившей сказочную дочь моря до высоты самых прекрасных образов земной женщины.

Нас окружила стихия моря, ощущение чего-то громадного, полного таинственной жизни, скрытой силы, двуединства мягкости и жесткости. Зазвучал голос великого датчанина:

— В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как тончайшее стекло. На дне цветут удивительные деревья и цветы. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь-в-точь как у нас птицы в лесу.

После первых же легких аккордов этой морской симфонии невольно замедляю чтение, как бы принаравливаюсь к неторопливому бегу волны, которая перебирает гальку у наших ног. Она мягче нежных девичьих рук, но шлифует камни, превращая их в мелкую гальку. В комнату пришла сказка. Продолжаю читать.

Странная девочка была эта Русалочка, тихая, задумчивая. Больше всего любила слушать про людей, что живут наверху, на Земле, про корабли и города. И вот в день своего пятнадцатилетия Русалочка легко и плавно, как прозрачный пузырек воздуха, поднялась на поверхность моря. Неподалеку от того места, где она вынырнула, стоял трехмачтовый корабль. С палубы доносились звуки песен и музыки, было много нарядных людей, но красивее всех был черноглазый принц, юноша лет шестнадцати, не больше. В тот день праздновали его рождение, оттого-то на корабле и шло такое веселье.

Но вот на Русалочку дохнуло приближение бури. Засвистал ветер, один за другим перекатывались через палубу взбунтовавшиеся, ревушие зверем, громадные волны. Когда корабль развалился, Русалочка увидела, что принц тонет. Она приподняла над водой его голову и поплыла вместе с ним, потерявшим сознание, к берегу. Она откинула мокрые волосы с его лба и поцеловала этот высокий красивый лоб. Так встретила Русалочка из подводного мира свою Любовь. Утром дочь соседнего короля нашла принца на берегу, куда положила его Русалочка. И принц поверил, что это она спасла ему жизнь. Так встретил Русалочку надводный мир.

Несмотря ни на что, Русалочка должна быть рядом с принцем. И она решила обратиться за помощью к морской ведьме. Ведьма дает ей прозрачное питье. Ру-

салочка подплывет с ним к берегу еще до восхода солнца и выпьет все до капли. Тогда хвост ее раздвоится и превратится в две очаровательные, как скажут люди, ножки. Каждый шаг будет причинять острую боль. Но она сохранит свою легкую скользкую походку, ни одна танцовщица с ней не сравнится. За свое питье ведьма возьмет у Русалочки ее голос — лучшего не было ни у одной русалки, отрежет язык — останутся только горящие глаза. Приняв человеческий образ, она уже никогда не будет русалкой. И если принц не полюбит ее так, что ради нее забудет отца и мать и не попросит священника соединить их руки, она не обретет бессмертной души. Если же он возьмет в жены другую, то на первой же заре их брака сердце ее разорвется на части, и она превратится в морскую пену.

— Пусть будет так, — сказала Русалочка и побледнела, как смерть.

Принц как-то сказал Русалочке:

— Если мне придется избрать себе невесту, я, скорее всего, выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами. — И он целовал ее в алые губы, играл ее длинными волосами и прижимал голову к ее сердцу.

Принц поиграл в любовь, Русалочка ему поверила. Но вскоре принц выбрал другую невесту — дочь соседнего короля, ту, которая, как он верил, спасла ему жизнь. Он сказал Русалочке с наивной жестокостью:

— Как я счастлив! Сбылось то, о чем я и мечтать не смел! Ты порадуешься моему счастью, ведь никто так не любит меня, как ты.

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее уже разрывается.

В настоящее время чем неуютнее в окружении невиданного наступления техники, тем сильнее у меня потребность в сказках, в их поэзии, в их иносказательно-поэтическом осмыслении жизни. Французский певец Жильбер Беко сказал примерно так: «Надо любить поэзию. Она нуждается в нашей защите в век, который сотрясается от рева моторов».

...Тогда, десятилетия назад, на Витебщине, на берегу ручья, стоял рядом с нами танкист Егор Дрёмов. Так и десятилетия спустя в Москве стоит рядом с восьмилетней девочкой и мной сказочник из маленькой Дании.

Сестры дали Русалочке нож. Она должна была вонзить его в сердце принца, и когда его теплая кровь брызнет ей на ноги, они сростутся в рыбий хвост — она снова станет русалкой и погрузится в родное море.

Ночь на исходе. Кончилось свадебное торжество на корабле. Все спят. Не спит Русалочка, сжимая в холодной руке нож. Приподняв край великолепного шатра, она услышала, как принц произнес во сне имя своей молодой жены: значит, она была у него в мыслях. И нож дрогнул в руке Русалочки, она бросила его в море. И сама бросилась в море. Не растворилась в пене морской, а приняла смерть, как земная женщина.

Словно ожидая чего-то еще, медленно закрываю книгу. Теперь сомневаться или раздумывать поздно: сказка прочитана. Ириша соскальзывает с кровати и молча уходит. Не приходит и день, и два. Катает Андрюшу мимо моих дверей, бегаёт с Топой наперегонки на каждый звонок, но не приходит. Чтобы заглушить тяжелое недовольство собой — зачем прочла? — затеваю большую стирку. Поплескаться в воде Ириша не приходит.

Развязка наступила неожиданно — рывком распахнулась дверь, появилась Ириша:

— Я буду писать сказку!

Напряжена, собрана, голубые глаза стали синими. Быстро достаю бумагу, ручку, Ириша диктует:

— Раньше жили русалки. Плавали корабли, и морякам было слышно, как русалки пели песни своим нежным голоском... Написала?

— Обожди, — отвечаю. Записываю с ее слов, ничего не изменяя.

Ириша видит подводные сады. В них растут оранжевые астры, большие огненные и синие деревья, синие и голубые розы. Есть и янтарные ворота, оконные рамы из кораллов во дворце морского царя. Есть в нем и зала, потолок и стены которой украшены грустрицами (так Ириша называет устриц).

Однажды вечером, когда все спали, Русалочка сидела у окна и вдруг почувствовала, что тянет ее на поверхность моря. И она вдруг устремилась и поплыла туда. Она увидела необыкновенную красоту... Вдалеке плыл корабль, и слышна была чудесная музыка. У принца была свадьба. С корабля они смотрели на город Белоснежный, и невеста любовалась красотой моря. Русалочка заплакала: она полюбила принца.

Любовь и слезы... предчувствие Русалочки, что ее любовь останется безответной? Что она ей принесет одни испытания? Откуда такие понятия у маленькой Ириши? Она диктует без запинки, не торопясь, будто по книге читает. И ходит по комнате, от дверей к окну: посмотрит в окно, задержится и снова от окна к дверям. «Написала?». Едва успеваю.

Бабушка русалок сказала:

— Когда вам исполнится двенадцать лет, вам разрешат всплыть на поверхность, очень далеко. Есть на свете хорошие люди и плохие. Полюбите доброго человека. Но если он вас не полюбит, то полюбите другого. Если и этот вас не полюбит, не любите вообще человека. А лучше никогда не знать человека, любовь и жизнь.

Я снова удивлена: откуда у Ириши этот философски-житейский вывод?

Ириша рассказывает, что предостережение бабушки не помогло: Русалочка узнала и человека, и любовь к нему, и жизнь надводного мира, к которому так стремилась. Все поняла Ириша, безошибочно! Интуицией будущей женщины.

День за днем, после приготовления уроков, она диктовала свою сказку, проявила волю, и немалую. Это было ее первое путешествие — самостоятельное — в мир Прекрасного. И я совершила такое путешествие вместе с ней и пережила вместе с ней и бурю отчаяния Русалочки, и тихий штиль надежды, когда кажется, что бури больше никогда не будет. Я поняла по-новому эту одну из самых значительных сказок-поэм, сказок-симфоний. Понятно, почему она продолжает волновать не одно поколение людей.

Прошло несколько дней. Пробыв довольно долго на кухне, вхожу к себе в комнату. Ириша сидит в кресле, прижав к груди Марину-балерину. Слышу, напевает: «Много чудес у морского царя. Вот он по-волшебнически сказал свое слово, и дочки-русалки стали наряжать свои сады красно-огненными цветами». Ах, как жаль, что не услышала начала этой колыбельной! Редкое счастье наблюдать за ростом детской души, суметь увидеть этот рост. Для этого надо терпеливо трудиться и самой расти, самой многое переосмыслить.

10. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Моя жизнь заканчивается, и я уйду в это непонятное и пугающее Ничто... Не представляю, что это такое — вечное блаженство или вечные муки в аду... Вечно только вечно движущееся, как его назвали когда-то мечтавшие изобрести вечный двигатель.

Мысль уйти в Ничто пугала древних жизнелюбивых греков, и они создали миф о двух мирах. Один о мире живом, где есть золотовласая Афродита и продолжение Жизни, другой миф о мире мертвом, где бродят тени умерших, — их не пугает Ничто, потому что у них остались воспоминания. А это значит продолжать жизнь.

— Вы слышали? Старая Хозяйка сказала: «Пора и отдохнуть».

— Теперь и я отдохну, — радостно воскликнула Ручка со спиралью в брюшке.

— Отдохну... — передразнили Ножницы. — Эх ты, балаболка, — поверила! Опять будешь глотать чернила, а она все будет писать, вписывать, переписывать... Тоже мне, писательница чуть ли не в девяносто лет. Ходит с палкой, без конца переспрашивает, под глазами мешочки... А шея! Ей бы в интернате авоськи плести, а не писательством заниматься! В интернате пора, в интернат!

— Она и в интернате будет писать, — уныло прошептала Ручка.

— Ну конечно, письма в две простыни: «Здравствуй, мой дорогой друг! И здесь духовная жизнь бьет ключом», — не сдавались Ножницы.

— Писать будет, не сомневаюсь, — подумала Синяя Лампа. — Важно не то, что писать будет и в интернате, а о чем она там напишет. Это будут ее наблюдения над бытом, над нравами состарившихся женщин, с глазу на глаз с их судьбами. Сделанная из вазы северского фарфора Синяя Лампа была красавицей вне конкурса. И не столько по причине красоты самой вазы, сколько потому, что, родившись во французском городе Севре, примерно в середине восемнадцатого века, она до сих пор сохранила свежесть молодости. Она гордо стоит на бронзовой подставке в виде венка из цветов. На синем фоне благородного тона вазы — белый овал с букетом, окаймленный золотой полоской, — это цветник в золотой огаде: смотри, любуйся!

А любоваться есть чем! Две розы, живая плоть которых возбуждает желание их поцеловать, такая она теплая. Роза чайная, изнутри подсвеченная светом темного янтаря, зовет истинного дегустатора прильнуть к любовному напитку, скрытому в ее глубине. Между розовыми розами, как на груди юной женщины, покоится белая калла — нектар у нее в самой глубине и недоступен верхогляду. Цвести бы и радоваться. Но цветник окутан едва различимой дымкой печали: если праздник красоты длится вечно, не станет ли ощущение своей красоты привычно будничным? И не потускнеет ли само это ощущение?

Синяя Лампа хорошо помнит бабушку Алису — юную, но уже замужнюю. Она читает книгу. Синяя Лампа, тогда еще керосиновая, освещает своим теплым светом ее лицо, склоненную голову с тяжелой темно-русой косой, заплетенной, как у Натальи Гончаровой, в четыре пряди и уложенной венком вокруг головы. У Алисы глаза-незабудки, розы румянца, любовный напиток на лепестках красивых губ — цветник. В доме тихо. Потрескивают в печке дрова, бессонно тикают старые охрипшие часы. В положенное время из дырочки появится кукушка. Больше двенадцати лет жизни она не прокукует. Алиса правой рукой переворачивает страницы, левой обнимает вазу за горло, как обнимают за шею подругу-наперсницу в девичьей беседе. Всегда холодное фарфоровое тело Синей Лампы становится по-человечьи теплым.

Алиса, похожая на мать, в крещении Александра, так на всю жизнь и осталась Алисой, как ее звала мать-немка. После смерти матери отец решил жениться вторично. Надо было поскорее выдать замуж единственную дочь — такое условие поставила будущая мачеха: красивая падчерица ей не нужна. К счастью, случай уйти из дома подвернулся быстро и неожиданно.

...Стоит сухая и солнечная осень. Пахнет яблоками и жареными семечками. Алиса, воспитанница пансиона, сидит на подоконнике окна, которое выходит на людную улицу, и ест яблоко. Правилom пансиона это запрещено, тем более есть яблоко у всех на виду. Но шум улицы, оживление и яркие краски южной толпы хоть немного скрашивают рутинную скуку. Этой весной она окончит пансион и получит диплом домашней учительницы.

Вдруг из коридора донеслись звуки ритмичных шагов начальницы пансиона (одна нога у нее короче). Алиса поспешно выбросила огрызок яблока в окно. На-

чальница успела заметить, что Алиса соскочила с подоконника, и принялась отчитывать: «...сидеть на подоконнике... на глазах у публики... что скажут про пансион?.. милая моя! Чему вы будете учить детей?» — и все так же нудно, пока не ушла.

Вскоре Алису вызвали к начальнице. У нее сидел пожилой господин. «Она?» — спросила начальница. «Она». Та самая, что мелькнула в окне, из которого вылетел огрызок и попал ему в голову. Он просил девушку не наказывать: он сам пойдет к отцу объясняться.

Пожилый господин, известный в губернии ветеринар, сделал Алисе предложение руки и сердца: руку — защиту от всех превратностей жизни — и сердце, в котором, как всем известно, обитает любовь. Жених поцеловал ей руку, невеста бесчувственно улыбнулась.

Уж лучше муж на пятнадцать лет старше, чем жить с мачехой, уже заочно ее невзлюбившей. Пара получилась на редкость приметная: невеста в акварельно-нежных тонах, жених — жгучий брюнет цыганского типа.

Став его женой, Алиса увидела, как ему повинуются быки и жеребцы, как умело он берет своими ручищами мелкую живность, и никто его не боднул, не лягнул, не укусил. Говорили, что одним только взглядом своих близко поставленных глаз, манерой обращения без хлыста и палки он мог останавливать необъезженного коня. Говорили разное: например, что он заговоры знал.

Со временем бабушка Алиса признала его мягкую власть и над собой. Когда она призналась ему, что ждет ребенка, дедушка подарил ей Синюю Лампу. Бабушка его поцеловала. Первый раз поцеловала! Дедушка погиб во время кукуевской железнодорожной катастрофы, и бабушка надела на голову черную вдовью наколку, когда ей было девятнадцать лет.

— Ты знаешь, что я передам тебя Ирише? — спросила я Синюю Лампу.

— Давно знаю. Иначе и быть не может!

— Ты останешься, а меня не будет. «Я» и вдруг Ничто.

— Не тоскуй. Лучше обними меня, и давай побеседуем. Видишь, куда легла твоя ладонь? На золотую ограду моего цветника. На этом месте позолота стерлась. Это след рук всех ушедших до тебя: они брали меня за шею, когда переносили. И ты делаешь так же.

— Ириша сделает так же, — прошептала я.

— Перпетуум мобиле, или, по-русски, вечно движущееся, — подал голос Словарь иностранных слов.

— Прощай, Синяя Лампа. У тебя будет новая Хозяйка, молодая.

— Не в первый раз.

Я взорвалась:

— И ты говоришь, будто тебе все равно: Алиса, я, Ириша...

Ириша водит машину. Алисе не то что водить, но и прокатиться в автомобиле было боязно. Редко у кого он был тогда, этот автомобиль.

Ириша ходит на тренировки по плаванию. Алиса и мысли не могла допустить, чтобы ее, в купальнике, обучал мужчина-тренер: возьмут ли после этого замуж?

Ириша ходит с однокурсниками в кафе отдохнуть, потанцевать. Алиса и мысли не могла допустить, как это она, девица, появится в публичном месте одна, без старших. У себя дома — встречайся, развлекайся, танцуй, да и то с отладкой: лишний раз «он» пригласил на танец, слишком близко наклонился во время беседы — могли взять на заметку, посчитать женихом, а это дело нештучное.

Но самое главное. Ириша учится в институте, изучает историю, экономику, культуру стран Азии и Африки, изучает китайские иероглифы, говорит по-английски и по-вьетнамски. Она комсомолка. Алисе же с ее дипломом домашней учительницы

знать хотя бы историю своего Отечества, не то что неведомых, фантастически далеких стран. Она родилась за несколько лет до смерти Карла Маркса и умерла в десятую годовщину Великого Октября. Российская действительность ее не волновала.

Я так задумалась, что не слышала, как вошла Ириша. Взглянув на нее, я была поражена: передо мной стояла чужая женщина. Какая-то бесталанная косметичка наложилась на ее лицо (в акварельных тонах, с чудесным розовым цветом губ, с нежным румянцем) яркий макияж — увлечение модниц.

Ириша пойдет своим путем. А ты, Старая Хозяйка, не забивай себе голову мыслями о Ничто. Не цепляйся ни за какие мифы древних греков или еще за что-то вроде теософии. После тебя в цепочке поколений идут Ириша и ее мать Оксана. Закон вечного движения незыблем. Так что лучше займись делом. Давно пора погладить абажур Синей Лампы, перебрать книги. А письма! Вон сколько их лежит без ответа!

11. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Последние числа октября сорок пятого. Еще не отдышался, не остыл воинский эшелон Суньцзянтунь—Москва, я еще не пришла в себя, когда ступила на перрон Казанского вокзала в Москве, уже отрезанная от армии. Открылась совершенно чистая первая страница моей совершенно новой мирной жизни.

Чугунные ворота Моссовета. Липа. Старый Дом. Лестница на второй этаж. Дверь в квартиру открыла Евгения Никитична. Мы обнялись, поцеловались. Я — бурно, как-то растерянно, она чуть дотронулась губами до моей щеки и крепко, удивительно мягко обняла. Я сразу почувствовала что-то новое в этой уже немолодой женщине, обычно всегда «застегнутой на все пуговицы», как бы предупреждавшей: «Я тебя не трогаю, но и ты меня не тронь».

Я уже знала, что они с мужем удочерили сиротку из Брянской области. Малышка помнила только свое имя — Валя. С ее появлением Евгения Никитична, холодно сдержанная и суховатая, поглубже прятавшая чувства, а тем более эмоции, отдалась заботам о девочке.

Малышку окружил отлично налаженный быт, комфорт и уют, какие только возможны по тем временам, соединенные с безукоризненной чистотой и хорошо предусмотренным распорядком дня. Суп к обеду подавался не в кастрюле, а в супнице. И серебряная разливательная ложка уцелела — не попала на весы государственной скупки или в цепкие руки вдали от посторонних глаз.

Обедали за массивным столом, сработанным до революции умельцем не для одного поколения, — за столом, покрытым скатертью, украшенной ручной вышивкой. Стирать эту скатерть Евгения Никитична не доверяла никому. А тем более погладить. Для этого она употребляла деревянный рубель и каталку. Эта каталка в виде большой скалки для раскатывания теста обертывалась чуть влажной скатертью так, чтобы не было ни малейшей морщинки. Потом ребристый длинный рубель с силой нажимал своим концом на каталку со скатертью и направлял ее вперед до своего конца, то есть до ручки. И так много раз. Скатерть оказывалась отглаженной не хуже, чем это сделал бы современный утюг. Во всей квартире был слышен характерный глуховатый звук с ритмичными интервалами, а все удивлялись, как это на все обычные домашние дела у нее своя выдумка, свои привычки, не знаю, доброго ли, но, во всяком случае, старого времени.

Совершенно особым действием был обед с домашними пельменями. Евгения Никитична звонила мужу на работу, чтобы узнать, когда он отправится домой. Время она рассчитывала так точно, что к приходу Стефана Викторовича, после супа,

на стол подавались горячие, отлично сваренные, необыкновенно вкусные пельмени. Даже хлеб, ею нарезанный, казался особенно вкусным. Все другие, кроме ритуала обеда, дела по домашнему хозяйству она распределила по месяцам: когда начать готовиться к смене какого времени года; когда перебрать или сшить белье постельное, а когда — столовое; когда к какому празднику какие заранее закупить продукты. Все было предусмотрено, все исполнялось в срок.

Вещи у Евгении Никитичны подчинялись жесткому правилу: они должны были служить до полного износа. Зато как же их берегли, чистили, мыли — старательно и любовно!

В большой комнате, как раз напротив дверей в теплую прихожую, в простенке между окнами, висело громадное старинное зеркало до потолка. Оно, несомненно, могло стать в один ряд с моей Синей Лампой. Зеркало главенствовало в Доме Гурторовичей, Синяя Лампа — в моем. Зеркало было вставлено в деревянную раму из амура и роз. Каждую завитушку, лепесток, пальчик амура Евгения Никитична деликатно, но не жалея трудов, протирала пушистой фланелью, для чего становилась на стремянку. Зеркало понимало, что вся эта процедура, похожая на священнодействие, необходима только для придания особой значимости и блеска этому дому из двух комнат, а вовсе не из любви к нему, к зеркалу. Но еще неизвестно, кто на кого больше влияет — человек на вещи или вещи на человека.

Наши вещи смотрят на нас критически? Думают? Помилуйте! Надо как можно скорее на прием к психиатру!

Таким трезвомыслящим, как Евгения Никитична и многие, многие другие, только и могут помочь очки и слуховой рожок старухи знахарки, той самой, что живет в маленьком доме у полевого шлагбаума.

Если наденете ее очки, прижмете покрепче к уху ее слуховой рожок, то окружающий вас мир, в котором вы не видите ничего интересного (обо всем уже рассказано, обо всем уже написано), откроет вам все свое богатство, неожиданно яркое содержание. Неважно, что очки — допотопные, с тесемкой вместо сломанной дужки, а слуховой волшебный рожок — это не что иное, как самая прозаическая жестянка для переливания жидкости. Почитайте об этих волшебных предметах в одной из самых лучших сказок Андерсена «Чего только не придумают», и вам сразу же захочется разыскать старуху знахарку, а если захочется очень сильно, то и не придется искать, глаза ваши сами откроются на удивительный мир с вами рядом, вы его услышите и увидите.

Своенравно семейное счастье... не ускользнуло бы золотой рыбкой в синее море! Когда же отогреется Валя, чудом выжившая в поселке на Брянщине после того, как из него выбили немцев? Попытки к сближению отвергает, дичится, во сне плачет. У нее появились прелестные платьица. Их шила Евгения Никитична — до войны большая модница — из того, что заказывала когда-то для себя у дорогой портнихи. Сшитые со вкусом, в полной гармонии с наружностью Вали, они выглядели с изнанки не хуже, чем с лицевой стороны: ни узелка, ни кривого стежка. Валины полотенца украсили зайцы и незабудки, появился и детский столовый прибор. Отец смастерил кукольную кровать. В нее положили куклу со всеми постельными принадлежностями, настоящими, только в малом размере.

И вот настало время, когда Валя, обняв за шею Евгению Никитичну, прошептала: «Теперь ты будешь моя мама». Слова не были результатом особого подарка, красивой обновы или неумных ласк, скорее похожих на заискивание. Просто совсем еще малое дитя, чья-то родная дочь наконец-то отогрелась у чужого семейного очага. Наконец-то сбылось страстное желание Евгении Никитичны ответных чувств со стороны Вали. Это признание в детской любви имело для бездетной Евгении

Никитичны значение не меньше, чем признание в любви мужской, — ее жениха, теперь мужа. А может быть, и большее.

На шум в прихожей прибежала Серафима Максимовна и увела меня к себе. Как же она изменилась! Непомерно худая шея, непомерно большие кисти рук, стриженная (жаль ее прекрасных волос), по-новому громкоголосая, с жесткими нотками, вот-вот закричит. Туфли с разбитыми задниками, платье не по фигуре.

Я легла на кровать, но с непривычки лежать было неудобно: слишком мягко. «Мне бы под кровать», — пошутила я и не заметила, как уснула. В голове стучит, бешено мчится воинский эшелон. Вместе с теплушкой бешено мчусь и я, тело тяжелое, как земля. Нетерпеливо режут гудки, эхо разносит богатырский дых: «Я еду-у! Посторонись: солдат везу-у-у».

Внезапно просыпаюсь, как от резкого толчка, будто и не спала крепко. Это Серафима Максимовна всего только опустила руку мне на плечо. Рывком поднимаюсь: тревога?

— Нельзя же так пугаться, я чуть дотронулась. Щей поешьте, — смущается Серафима Максимовна.

Мясные домашние щи со свежей капустой... Что может быть вкуснее? Если существует рай, то я в него перелетела после первой же ложки. Вскоре пришел будущий Иришин дедушка Владимир Самойлович и привел за руку свою единственную дочь — маленькую Оксану, Ксюшу... «Поздоровайся, это тетя Лиза». Ксюша серьезно меня изучает — стоит здороваться или не стоит — и шепчет едва слышно: «Здравствуйте».

Это — будущая мать Ириши.

Серафима Максимовна потеряла на войне мужа и одна поднимает дочерей-подростков, Зою и Галю. У обеих красивые волосы: у Зои пепельного оттенка, у Гали — густо-бронзового. Обе уже два года работают: Зоя на Гознаке, Галя шьет парашюты и белье для армии,

Не помню, как пришли с работы Зоя и Галя, как все мы разместились на ночь. Я открывала глаза, раздвигая склеенные веки на какие-то секунды, что-то говорила и тут же погружалась в беспробудный бесконечный сон. Дуло холодом в шею, доносились перестук колес, визг тормозов, дергалась теплушка, и то удалялся, то раздавался чуть ли не над самым ухом голос чем-то недовольной Серафимы Максимовны.

Глава семьи страдал запоем. Станет на пороге своей комнаты в одном конце коридора, и все, что попадет под руку — чашку, утюг, полный чайник, — начнет бросать в другой его конец, около кухни, как раз туда, где всегда кто-нибудь может проходить. Один Стефан Викторович мог его утихомирить. Угадав, когда Павел Кузьмич выбирал, что бы еще швырнуть, он подбегал к нему, хватал за руки, укладывал сразу обмякшего и ставшего послушным на кровать и, положив руку на лоб, что-то приговаривал. Павел Кузьмич засыпал. Серафима Максимовна с сухими воспаленными глазами молча принималась за уборку, в который раз! Добывая деньги стиркой, мытьем полов, занимая, покупала то, что было изломано, исковеркано, разбито, в который раз! Денег не хватало купить полную замену — уж и мыкалась Серафима Максимовна! Улыбку свою забыла, будто никогда ее и не было, будто она никогда и не знала, что в ней ее женская сила. В настоящее время сила ей была нужна только физическая — добывать кусок хлеба в буквальном смысле слова. И без масла.

Хорошо ее помню в медовый месяц, в аккуратном платье с кружевным воротничком, с большим пучком рыжеватых волос на затылке, с кокетливой полуулыбкой на губах: дескать, это для начала, а там посмотрю, стоит ли улыбнуться в полную силу, чтобы у вас вспыхнули глаза от неожиданности. Помню и большую бельевую корзину, в которой по очереди вырастали погодки-дочери. И выросли не хуже, чем в дорогой кроватке под шелковым одеяльцем, милovidными, да стройными,

да трудолюбивыми. О семье Павел Кузьмич заботился, как мог: по ночам, чтобы никто не видел, стирал пеленки. Был приветливым, добрым — мастером на все руки.

Хорошо помню бабушку Галю, мать Оксаны. Неприметная, застенчивая до состояния полной растерянности, несколько замкнутая. Читала в подлиннике французских классиков, увлекалась поэзией и сама писала хорошие стихи. При более тесном с нею сближении полной неожиданностью были тот темперамент, с каким она танцевала «цыганочку», и обаятельная улыбка, широко, доверчиво раскрывавшая ее душу.

Я дома. Моя комната еще закрыта. Занимая часть стены, к дверям прибита доска. Оказывается, мою комнату хотел занять какой-то ловкач. Всякое бывало в те времена: и героическое, и самое подлое. Эту доску, наделав шуму в домоуправлении, прибил Владимир Самойлович.

Но я не совсем дома, я все еще у Серафимы Максимовны. Нахожусь в состоянии раздвоения: продолжаю спать в теплушке и в то же время различаю отдельные слова. Стараясь уловить смысл, делаю усилие приподняться, освободиться из какого-то узкого мешка и вдруг оказываюсь на перроне вокзала в Суньцзянтунни. Передо мной гвардии майор политотдела нашей дивизии. Он поочередно пропускает демобилизованных солдат к длинному составу из разномастных пассажирских вагонов. «Прощайте, товарищ гвардии майор!» Он кивает головой — он остается. Остается в чужой стране, а я уезжаю домой. И армия остается. Сама по себе.

Теперь что же: и я — сама по себе? Как сложится личная жизнь? Кроме того, что сниму военную форму, ничего другого, определенного, впереди пока не видится. Однако нельзя сказать, что впереди так уж ничего определенного и нет.

Я приехала не одна. Приехала с маленькой дочерью. Кто отец, как я ее сохранила в условиях фронта, как везла в теплушке, — все это скрывалось в тумане. Но я знала, что моя девочка всегда рядом, всегда со мной, как биение моего сердца. Это была давняя мечта такой жизненной силы, что стало восприниматься как реальная правдоподобность. Написала и задумалась: почему мечта? Женщина и дитя — разве это мечта? Это закон жизни.

... Прощай, Великий Китай! Все дальше Суньцзянтунь, все ближе Москва, мой Дом. Но нет бурной радости, возбуждения, ведь я расстаюсь с армией.

До Читы едем в японских вагонах. Места только сидячие, и спать надо сидя. Стойкий запах чего-то «не нашего». Часть пути едем только днем, чтобы не стать жертвой хунхузов-бандитов. Ночью, во время стоянки, они могут ослабить сцепление между задними вагонами. На полном ходу эти вагоны отстанут от поезда, хунхузы зарежут пассажиров, скроются с награбленным добром, с воинскими и партийными документами, ценными дорожке всякого добра. Такие ходили среди нас слухи. Часть пути едем по местности, где была вспышка чумы. Это уже не слухи, двери и окна плотно закрыты. При наступлении нашей армии японский генерал Сиро Исии, руководитель зловещего отряда № 731, производящего бактериологическое оружие, приказал выпустить зараженных чумой крыс.

Наконец в Чите погрузились в милую родную теплушку. Посредине печурка, около нее веник, большой чайник и ведро с углем и лопаткой. В вещмешке подарки: соевое масло, мыло, соль, вяленая рыба, табак. От китайских детей — земляные орешки, которые они же и выкопали, от командования — каждой женщине по два отреза на летние платья.

По обеим сторонам теплушки нары. Спим впритык одна к другой, перед каждой — затылок соседки. Если во сне поворачивается одна, должен повернуться весь ряд.

На больших станциях едим горячий суп или даже борщ со свежим ржаным хлебом без нормы. Едим — ни капли не прольем, ни крошки хлеба не оставим. Как же

иначе? На нашей земле ели пшено, в Восточной Пруссии — лапшу, в Монголии — рис с черемшой, в Маньчжурии — просто рис.

Мои спутницы не шумят, громко не смеются. Кто прически придумывает необыкновенные, кто в зеркальце военторговском себя изучает: «Неужели это я — гражданская? Новая? Что же дальше?»

Кто знает, что у них в мыслях, у этих молодых (я самая старшая), на крутом повороте их новой жизни.

Нашли ли они мужа? Иные находили. Порою при самых невероятных обстоятельствах. Иные же едут домой вдовами, едва перешагнув свои двадцать лет.

Среди нас юная вдова. Она ждет ребенка и едет к родным мужа: всю ее семью, родной дом уничтожили немцы. В ее будущей семье ее ждут не дождутся. И всю любовь к погибшему единственному сыну готовы отдать ей и ребенку — ростку от старых корней. Смотрю на ее утомленное лицо. Ее смятение передается и мне. «Неужели погиб? — кричат ее глаза. — Это правда?! Не верю: жив!»

Ждет ребенка и моя соседка. Игривая улыбка малознакомого солдата для нее, уже не первой молодости девушки, оказалась роковой. «Теперь кормлю двоих», — зло шепчет она и поворачивается ко мне спиной. У нее, нескладной, все крупное: тяжелые ноги, широкое лицо, сильные руки. Ссутулилась спина, застыла глыбой. Никогда не думала, что может быть такой выразительной спина. Что скажут ей дома? Прибегут на нее посмотреть, а ей трудно поднять глаза на людей. Строгая властная мать, вся семья ждут ее не дождутся, славную телефонистку, отмеченную за воинский подвиг медалью «За отвагу». Что она им скажет?

«Убью-у-у», — шепчет она. Пытаюсь повернуть ее к себе. «Отстань», — обреченно шепчет она. Слова, которые висели у меня на кончике языка, тут же и исчезли.

Наш тяжелый поезд вытянулся в струнку и легкой птицей летит вперед. Все ближе Москва. Все ближе мирная жизнь, новая судьба.

Армия закалила, приучила к самодисциплине. Пришлось сражаться не просто, чтобы остаться в живых, а сражаться, чтобы победить. Отступление? Наберись мужества. Если не найдешь его в себе, то не найдешь больше нигде.

Прощай, армия! Земной тебе поклон.

И «Тетради» мои, прощайте! Теперь они принадлежат Ирише. Настанет время, и она начнет читать. Она по-новому взглянет на свою жизнь, которую ей предстоит прожить без меня, по-новому поймет жизнь мою.

Раскрыв «Тетради», она прежде всего увидит репродукцию монумента «Советский солдат». Доверчиво прильнула к его груди еще совсем маленькая девочка, им вырванная у Смерти и возвращенная Жизни. Такая же маленькая, какой была и ты, когда в первый раз переступила порог моей комнаты, и я тебя подхватила на руки, прижала к груди — и ты доверчиво к ней прильнула. Помнишь, мы подошли к подносу на стене: «барвинок», «пишовник»?.. Вглядись: узнаешь себя в этой малышке?

12. НА ВЕРШИНЕ

Уборщице нашего старого Дома чуть больше пятидесяти, но она считает себя старой.

— И чего старости бояться? Старость — это самая красота жизни. Стоишь, как на высокой горе, с нее далеко видно: кого обидела, какую неправду сказала.

И меня старость поставила как бы на вершину горы. Вижу отчетливо, из какой глубины начался подъем в ту бесконечно далекую ночь Топора. И каких только препятствий не одолела! «Благословенны препятствия, — ими растем», — сказал кто-то из мудрейших. И я выросла.

С вершины смотрю на Иришу. Я видела, как младенец, этот живой комочек, еще только заготовка будущего человека, постепенно вырос до уровня мыслящей личности. Видела и одно из наиболее ярких ранних озарений ее творческой мысли, творческого труда, когда нам с Сусанной совсем еще маленькая девочка рассказывала о птице-женщине Марии Буряк.

А ее мысли о Боге? «Я бы сделала так, чтобы жили все мертвые — в миропонижании ребенка нет места Смерти, — и сразу поправились: — Нет, только хорошие, как мои дедушка и бабушка». Это не просто констатация. Не просто как бы взмах волшебной палочки: был уродом и сразу стал красавцем. Ириша приняла никем не подсказанное самостоятельное решение оставить в живых только хороших, отдавая предпочтение Жизни и Добру.

Читая эту рукопись, Ириша, конечно же, по-новому воспримет чародейное иносказание о двух птицах, живших в мире ее детства без клетки и свободно летавших в моей семиметровой комнате на старой квартире.

Ириша — мечтательница. Ириша — воительница. Такой ей и быть в XXI веке, когда меня уже не будет. Да, звучит дико, но — не будет! Будет она. Потом ее дети... И будет Синяя Лампа, рожденная в XVIII веке, семейная реликвия, перешедшая от некоей прапрабабушки в неудобном громоздком кринолине на каркасе из китового уса к ее праправнукам в скафандрах космонавтов и астронавтов, от эпохи чистого воздуха и воды, но бессилия перед чахоткой и оспой к эпохе расщепленного атома и СПИДа. Вечное движение...

...Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная. Скоро будут говорить: она была в прошлом столетии.

Судьба нашего старого Дома решена: его будут ломать. Но он останется жить. Останется в воспоминаниях Ириши, в самом теплом уголке ее сердца. И красавица Липа останется, старая любовь Дома.

Мне удалось переехать в дом рядом с церковью Вознесения на Успенском Вражке. Это над ее куполом спала в зеленом гамаке из тополиных ветвей розовая луна, на которую смотрела маленькая девочка, стоя в кольце моих рук на «мушином» подоконнике семиметровой комнаты, и тянула вверх пальчик: потрогать бы эту диковинку!..

И теперь спит Луна в своем гамаке, но Ирише двадцать лет, и на ее пальце скоро может появиться обручальное кольцо. Вчера приходила попрощаться: уезжает с матерью на каникулы в Ригу. Принесла свои вазоны с цветами, чтобы я их поливала в ее отсутствие. Такая она милая, домашняя, совсем своя.

Какое счастье, что она у меня есть!

1989

Публикация **Светланы ГАРОН**